

ТРАХ, БАБАХ — И НЕТ ЕГО

Рассказ

Я увидел их, когда возвращался домой с сахаром и гречкой в рюкзаке — суровый и знаковый набор продуктов для марта двадцать второго.

На выходе из магазина мне пришлось пробираться через толпу людей у банкоматов, сметающих наличность с пластика. Сам я дал себе слово и пальцем не двинуть для того, чтобы убежать от будущего. Не искать надежной работы, не забивать кладовку припасами (гречки и сахару я принципиально купил по одной упаковке), не рыть бункера (такие предложения уже попадались на «Авито»). Если я лишусь всего, значит, я лишусь всего. Если я умру, значит, я умру.

Однако пока я протискивался к выходу через толпу, в меня проникли споры беспокойства за семью. Жена и дети не должны страдать от обуявшего меня самурайства. Я должен что-то делать, шевелиться, обеспечивать надежный тыл.

Чтобы разрешить этот внутренний диссонанс, я завернул в школьный двор и несколько раз быстрым шагом обошел вокруг школы. Наконец я остановился у рядка деревьев, высаженных вдоль стадиона.

Их верхушки и ветви были варварски опилены, и только голые стволы вырисовывались в вечернем воздухе. Характерная их кривизна делала вероятным предположение, что это клены.

Жутковатые обрубки темнели, почти чернели на фоне мутного красноярского воздуха и серого мартовского снега. Пейзаж был тосклив, сир, депрессивен. И все же что-то примечательное было в нем. Какая-то тайна брезжила.

«Как все-таки уродливо, — подумал я. — Хуже некуда». При этом «хуже некуда» являлось как бы и достоинством, чем-то доведенным до ручки и потому примечательным, заслуживающим внимания и даже уважения.

Я стоял с рюкзаком за спиной, замороженный этим трагическим, печальным безобразием. Серое небо. Серый снег. Темные изувеченные стволы, лишенные рук-ветвей и одухотворяющей листвы.

И вдруг что-то начало происходить со мной, с моим зрением, восприятием — какой-то сдвиг. Все неуловимо изменилось, приобрело некую плывущую мягкость: я проник в гармонию линий этих изогнутых обрубков. Увидел ритм в подчеркнутом отсутствии ритма или принял в себя их принципиальную, упрямую неритмичность. Вдруг

Евгений Анатольевич Эдин родился в 1981 году в Ачинске Красноярского края. Окончил КГУЦМиЗ. Работал сторожем, актером, помощником министра, журналистом, диктором, редактором новостей. Автор книг «Танк из веника» (2014), «Дом, в котором могут жить лошади» (2018), «Нам нравится наша музыка» (2019). Лауреат премий им. В. П. Астафьева и И. А. Гончарова. Живет в Красноярске.

стало ясно: все так, как есть, и иначе быть не может. Эти кривые стволы, этот ноздреватый снег, это скучное небо, эта бесприютность, этот момент — один из миллиардов моментов жизни.

Я стоял и смотрел на них, и они смотрели на меня. Уже не стволы, а словно бы языческие истуканы — могучие, равнодушные боги, которых я почитал несчастными калеками. А им не было дела казаться, они просто были. Они были — морщинисты, стары и... красивы.

Красота была в угрюмости, в упрямстве жить, несмотря ни на что, в невозможности быть изуродованными еще более. Конечный форпост тесноты красоты был здесь, и он был царствен, победителен. Не могло быть победы больше — ничего не могло быть больше.

Я долго стоял и смотрел на эту неожиданно обретенную красоту.

Когда я пытаюсь вспомнить Лехино изначальное, первое лицо, оно ускользает. Помню ощущение чистоты его, по крайней мере — впечатление здоровой, почти светящейся кожи.

На кожу других я невольно обращал внимание, поскольку с двух лет страдал атопическим дерматитом. Тело мое покрывали мучительно саднящие корочки. Меня подвергали воздействию кварцевой лампы, мазали облепиховым маслом и лоринденом, заставляли глотать порошки из толченой яичной скорлупы, смешанной с соком лимона. Однако все это не решало проблемы.

Днем я держался, но по ночам воля моя слабела, и я сладострастно расцарапывал струпья до крови. Поэтому перед сном мама стала надевать мне на руки особые, связанные ею варежки на тугих пуговках.

Еще плохо осознающий себя, я смутно прозревал некую ненормальность и позорность своего положения. Варежки летом, которые я не в силах снять, отличали меня от прочих людей, носивших варежки только зимой. С этим сознанием стыдливости отдельности я рос.

К подростковому возрасту эта беда почти миновала. Корочки остались только на сгибах локтей и коленей, летом же и вовсе исчезали. На смену им пришла близурность, которую я тщательно скрывал от дворовой компании.

В компанию эту привел меня мой одноклассник Гера Масличенко — слегка азиатского типа человек с иссиня-черным курчавым ворсом на голове. Идеальный объект насмешек и вечная жертва школьных негодяев.

Компания состояла из ребят нашего общего дома на Привозе — Г-образной девятины номер восемнадцать. Гера жил в десятом подъезде вместе со Славой Петруковым, Димасом Птицей и Пашкой Ирискиным. Я обитал на самом отшибе — в четвертом подъезде, Леха Швецов — посередине, в седьмом.

Мы с Герой учились в девятом. Остальные были на год-два младше. Основательной компании сверстников, интересных мне людей, пока не нашлось, особых увлечений я еще не имел и проводил время с этими младшаками от нечего делать. Мы или гоняли мяч в дворовой пыли, или набивались к кому-то цыганской толпой рубиться в приставку-восьмибитку, или мотались по заброшенным стройкам — «заброшкам». Летом мы ходили на дамбу.

Опасным местом, поставляющим в город трагические смерти, являлось это искусственное озерцо на выезде из Отчинска в сторону Красноярска. Грязное, вонючее, затянутое тиной, опоясанное у берегов ряской и мохнатым камышом.

Со дна дамбы добывали песок длястроек, порождая явление, называемое воронками. Невидимые водовороты затягивали оказавшегося в их эпицентре человека и не выпускали из своих лап до самой смерти.

Нам строго-настрого заказывали *шаландаться* на эту дамбу, но мы *шаландались*. Подозреваю, что нас влекла не только прохлада большой воды в июльский полдень, но и риск. Щекочущая нервы близость смерти.

Мы приходили на невероятно замусоренный песчаный берег. Брезгливо расчищали место от винно-водочной тары, сигаретных пачек, целлофановых пакетов, остатков гниющей еды. Расстилали принесенные покрывала, резались в карты и купались.

Пашка Ирискин и Слава Петруков, два толстых увальня (хотя обычно на компанию приходится единственный жирдяй), вообще не лезли в мутную жижу — отговаривались нежеланием подцепить заразу.

Мы с Герой и Димас Птица — длинный вредный подросток, постоянно цепляющий меня дурацкими подколками — держались у берега, метрах в двадцати. По нашим (ложным) представлениям, воронки находились ближе к центру дамбы, свершая свое смертоносное вращение.

На середину отваживался заплывать только Леха Швецов. Он уверял, что люди тонут в воронках по чистой дурачности. Угодив в водяной капкан, не стоит тратить силы на то, чтобы выплыть из него по поверхности воды. Следует, наоборот, поднырнуть и выскользнуть сквозь стенку водоворота на глубине.

Самый маленький ростиком, но пропорционально сложенный паренек с длинными золотисто-соломенными волосами, острым языком и пулеметной речью, Леха подкреплял свои слова показательным выступлением. Производил плавный клевок головой, как бы уходя «щучкой» на глубину, и «выплывал» из воронки, по-лягушачьи разводя руками.

— Ничего сложного! — восклицал он густым звонким голосом. — Вообще не страшно!

Он чувствовал себя в этой черной луже как дома. Переплывал ее вдоль и поперек, глубоко заныривал, потешно болтая ногами в воздухе. Видимо, ему нравилось наше волнение: он знал, что мы смотрим и беспокоимся за него. У нас же имелся и некий процент другого чувства. Втайне от самих себя мы хотели, чтобы что-то *случилось*, но кончилось благополучно. Леху уважали, никто не желал ему зла, однако исподволь было такое: ну?.. Ну?.. — когда мы видели желто-белую голову близко к середине дамбы. Озеро было совсем небольшое, и высокий Лехин голос легко достигал нашего слуха.

В тот день мы нешуточно увлеклись картами, когда с центра дамбы донесся оборвавшийся крик. Мы подняли лица и увидели пустую черную гладь.

Роковым образом мы оказались на берегу совсем одни, без взрослых. Их машины обычно угадывались в зарослях драного ивняка на берегу. Мы закричали, засуетились, вбежали в воду. Но воронка, поглотившая Леху, вселила в нас такой ужас, что никто не рискнул броситься вплавь ему на помощь. Мы стояли по колено в этой проклятой луже и изо всех сил тарачились на ее мутное зеркало, словно наши отчаянные взгляды сами по себе могли спасти тонущего человека.

Я щурил близорукие глаза, в которых наворачивались слезы, и перед моим внутренним взором на быстрой перемотке проносилось будущее. Наш приход домой к Лехе со страшной вестью. Обморок его матери, миниатюрной и светлой, подобно сыну, женщине, в одиночку растившей его и младшую дочь. Нечистоплотно-жадные распросы в школе. Тягостные похороны. Маленький Леха в большом гробу. Черный костюмчик. Белый саван. Стеклистая зелень воды с повисшим в ней, как космонавт в невесомости, безжизненным телом...

Но сквозь животный ужас и желание кричать процветало и другое чувство. Из темных глубин моей души восставал какой-то горестный восторг: в эти минуты всеобщий любимец Леха переходил в другое состояние. Становился *мертвым героем*: идеальным, недостижимым, легендарным.

Он вынырнул недалеко от берега. На поверхности показалась как бы голая, лысая голова с прилипшими, потемневшими волосами.

— Обоссались? — довольно крикнул он, поднимая над собой трубку-камышинку.

Мы сколько-то сердились и орали на него. Особенно Пашка Ирискин, неформальный лидер компании. А Леха смеялся, отражая нападки быстрым находчивым матерком, и его мокрая кожа драгоценно переливалась на солнце.

Мне кажется, половина из того, что мы тогда говорили, то есть орали друг другу, в наши четырнадцать-пятнадцать — это была бессмысленная и беспощадная матерщина.

Мы, бывало, сидели на крыльце подъезда у высокого забора детского сада, который размещался вдоль нашей девятины на Привозе, прозывавшейся «китайская стенка» (она как бы приобнимала садик, огибая его своей Г-образностью), и передавали эстафету поганых слов, стараясь побольнее задеть соседа. Просто так, без повода, потому что солнце, лето и прекрасно жить.

Правил и запретов не имелось. Можно было изощряться в разнообразии выливаемой на товарища навозной жижи, однако дозволялось и, как Слава Петруков, отвечать на все однотипно: «Ага. Твоя мама? Да-да. Твой папа?» И это действовало. Потому что секретом олимпийски-спокойной интонации и безмятежнейшей улыбки владел Слава Петруков — похожий на низкорослого армянина паренек со смуглой кожей и нежно-алым ртом. Его тело передвигалось вразвалочку, слегка косолапо, солидно. Возможно, если бы не оно, а другое тело привнесло в игру «твою маму, твоего папу», это бы не прижилось.

Второй и главный толстяк компании — Пашка Ирискин — имел бóльший рост и еще более внушительную, чем у Славы, долю лишнего веса, а также хриплый голос хулигана из советских фильмов и помидорные щеки. Он отличался редкой способностью мелодически разнообразно пускать газы и талантом заражать других своим настроением. Формировать атмосферу внутри компании. Он мог как-то очень искренне смеяться — и все хохотали. А мог впасть в смур без особой причины, и всем становилось неуютно, скучно. Тогда все бросались его веселить, чтобы вернуть краденое солнце компании на небосклон. Валили Пашку аккуратно, не заходя за грань.

Мой одноклассник Гера Масличенко был школьным посмешищем и отщепенцем. Склонность к беспричинной, нелепой лжи настраивала против него людей. Он числился обладателем величайших коллекций вкладышей, старинных монет, марок, природных минералов — разумеется, никогда никому не предъявленных. Он являлся счастливым владельцем никем не виданной громкой электрогитары «Флай» и примочки «Рамштайн».

Не знаю, под воздействием чего сформировалась эта его особенность фантастически апгрейдить свое бытие. Возможно, перешла с генами отца-авантюриста, который, по слухам, скрылся в Казахстане; жил Гера с угрюмым отчимом и истеричной матерью, называвшей его сволочью и собакой. Упругий негритянский валик на его крупной голове служил неистощимым поводом для злой фантазии школоты. Гера именовался Бигудями, Бяшей, Бараном, Анкл Бенсом. В этой компании его тоже недолюбливали и валили безжалостно, матерщинным хором.

Мне доставалось в основном от Димаса Птицы. Все в нем было длинно, в этом вредном подростке: и ресницы, и ноги, и руки, и издевательская улыбка от уха до уха. Обнаружив мои слабые места, он стал обзывать меня «кривоногим» (за футбольную бездарность), «слепощарым» и «картавой коростой» (я действительно немного картавил). Я старался не показывать, что все это задевает меня за живое. А когда все же поднимался, чтобы сделать физическое внушение, Птица с мгновенной реакцией ди-

каря вскакивал с места и с улюлюканьем улепетывал в сторону садика. Достигнув забора, он вцеплялся в рабицу и единым движением перекидывал через нее свое гибкое долговязое тело.

Леху задевать никто не рисковал, и сам он обычно в этой игре отмалчивался. Только ухмылялся особенно удачным подколкам и одобрительно косил глазом с видом заслуженного арбитра. Ему не было равных в матерщине и играх с мячом.

Таланты эти обычно проявлялись одновременно. Побелев от негодования, он приближался к неумехе своей потешной дробной походочкой и начинал яростно наскакивать, как боевой петух, извергая на свет божий удивительную словесную руду. Именно на его истошный голос во дворе оборачивались и качали головами женщины.

Мы сблизилась весной девяносто шестого, после какого-то смотра. Среди прочих в нем принимали участие три девятиклассника: я, мой приятель Ростислав и вздорный тип по фамилии Шубейкин.

Я был на хорошем счету у учительницы литературы. Ростислав имел бархатный голос. Шубейкин реабилитировался перед завучихой по прозвищу Молекула. Недавно он наворовал в кабинете химии пробирок и реторт, нес их в завязанной узлом куртке и вдребезги разбил все это добро на лестнице, прямо у ног этой почти что карлицы с леденящим душу взглядом.

Во время первой же репетиции я с удивлением узнал, что наш Леха, гений мяча и матерщины, — солист хора. Я увидел его, отделенного от массы хора, на особом возвышении. Он трогательно вытягивал тонкую шею и пел своим узнаваемым, звонким дискантом песню про «небылицы», которые «переходят все границы».

И не очень вяжущиеся с образом веселого хулиганистого пацана длинные волосы сразу объяснились: Леха был артист. И во всем, что он делал — в том, как он матерился, в том, как он владел мячом, как он умел совершенно естественно выделиться и быть во всем лучше всех, — сверкала врожденная артистичность. Сам я немного пел, немного рисовал, играл в шахматы и никак не мог определиться, не мог *стать*. А Леха уже *был*, Леха уже стал.

— Давно поешь? — спросил я, встретив его во дворе с глазу на глаз.

— Пару лет, — ответил Леха, сплюнув, слегка недовольным тоном. В компании он не афишировал свой талант.

— Ты можешь какой-нибудь рок петь. У тебя и голос высокий.

— Не знаю, — ответил он лениво, растирая плевков по асфальту. — Мне просто нравится пока в хоре. Разонравится, буду один... или на завод пойду. Или в армию. Или поеду в Японию.

— Зачем?

— Собирать «тойоты».

— А ты что-то понимаешь в «тойотах»?

— Женя, так мне сколько лет-то? — хохотнул он. — Научусь. — А потом посерьезнел и сказал тихо: — Не знаю, Жень, че дальше будет. Че шас загадывать...

Остро, щемяще помнится мне это серьезное, тихое «че загадывать».

Тот же смотр, открывший мне тайну Лехи-певца, связан с немного зловещим воспоминанием о маске. С впечатлением маски, с ее явлением в пространство моих мыслей.

Помимо нас, в смотре участвовали девушки из одиннадцатого. Две из них вместе с нами читали стихи, третья играла на пианино торжественную, грозовую композицию.

Звали ее Таня Самотесова. Молчаливая, с тонкой фигурой, со стройными сильными ногами, она выглядела так, словно никогда не была частью чего-то.

Приходя на репетицию, она садилась в одно и то же кресло на первом ряду и смотрела на нас потусторонним, не от мира сего лицом. Казалось, она спит наяву; но в нужный момент она выплывала из своего внутреннего существования, поднималась и цокала каблуками по облезлому полу актового зала к сцене, садилась за пианино и играла. Потом с тем же выражением не от мира она спускалась, занимала кресло и опять растворялась в созерцании чего-то скрытого от меня.

Ноги ее уходили под подол и там таяли в таинственной темноте. Эта темнота под платьем и бледное лицо, странное, неподвижное, гипнотизировали меня. Я не мог сказать, красива ли Таня Самотесова. Эта аутичная маска как бы растворяла красоту — и некрасоту. Умна она или глупа? Пуста или наполнена? Нельзя было понять.

Самолюбивый, я изо всех сил старался проявить перед ней остроумие, запомниться, навязать себя. Но при встрече в школьных коридорах она скользила по мне совершенно чужим взглядом — в ее жизни не было места мне. Чем она заполнила ее?..

Однажды я проследил за ней до самой квартиры. Как выяснилось, жила она недалеко, в пятиэтажке, в которой размещалась парикмахерская «Рябинушка», где мне в детстве неоднократно оболванивали голову. Близоруким прищуром собирая ее силуэт из расплывчатого пятна, я двигался на отдалении со щекотными мурашками в груди. Она шла — стройная, прямая, погруженная в себя — и ни разу не оглянулась на мой сверлящий взгляд.

Я последовал за ней до самой двери квартиры. Приложив ухо к рыжей обивке (двери тогда еще не повсеместно были железными), я услышал голос парня — наверное, старшего брата. Он был грубоват и даже, пожалуй, враждебен. Я постоял, чтобы услышать ее голос, отвечающий ему, но так и не дождался.

Благодаря школьному смотру маска этой девушки, жутковатое ощущение спрятанного лица, стертой личности как-то соединились с образом Лехи-артиста. А может, я надумал это потом, когда все случилось.

Разговор с Лехой во дворе о будущем, о Японии, о музыке сблизил нас, хотя внешне это никак не выражалось. Мы не начали говорить о чем-то сокровенном, поверять друг другу сердечные тайны и душевные терзания. Наоборот, общение выходило совершенно бессодержательное. Просто какие-то междометия, но приятные самой своей необязательностью и тем, что исходили они от правильного человека.

Дело даже не в пении и не в прочих талантах, за которые я уважал его. Рядом с ним было просто ненапряжно и хорошо. Что бы он ни говорил, шутил он или ругался, даже в мой адрес — это получалось смешно, необходимо и как-то парадоксально приятно. И еще: то время было временем моей полной личностной амбивалентности. Мне очень хотелось сузить себя до чего-то понятного. Стать цельным и определенным. А этот миниатюрный четырнадцатилетний пацан как будто уже родился законченным, готовым человеком, созданным, чтоб на него равнялись.

Видя, что в обращении с мячом я совершенно безнадежен, Леха перестал обращать против меня свой фирменный гнев. Он даже дал мне несколько советов, хотя и без всякой надежды. Лучше «футболить» я не стал, но окончательно преисполнился к нему симпатии и привязанности, как старший брат к младшему братишке-вундеркинду. Когда же мы играли в «квадрат», Лехе доставляло особое удовольствие поднять «кривоногого» меня с заслуженного «говна» на «серебро» или хотя бы «бронзу», в обход более сильных игроков. «Золото» всегда было за Лехой.

В «квадрат» мы резались на асфальтовой площадке за шахматным клубом «Белая ладья».

Клуб содержала бойкая и инициативная пенсионерка Валентина Васильевна, живущая в том же доме — пятиэтажке номер два, где я родился и провел первые годы.

Она обладала большой отвислой грудью, дребезжащим смехом Джо Пеши и заметной глуховатостью. С клубом ей помогал муж с забавным именем Калин Калиныч. Крепкий спокойный дед, задумчиво пощипывающий нижнюю губу над доской. Играл он здорово, вероятно, будучи примерно в ранге мастера спорта.

Клуб не являлся пристанищем одних лишь мореных толстолобиков. В одном из залов, свободных от шахматных столов, висели баскетбольные кольца. В другом зеленел теннисный стол с трескучими шариками. А главное, желающим выдавался хороший футбольный мяч. Этот фактор нельзя недооценивать, поскольку с мячами почему-то всегда была напряженка. Прямо за клубом, на асфальтовой площадке, удачно растрескавшейся на четыре ровных части, можно было катать в «квадрат». Ниже асфальта находилось футбольное поле. Впрочем, оно давно пришло в запустение и заросло высокой мощной травой.

Тогда мне казалось, что мы посещаем клуб исключительно ради «квадратных» баталий. Однако, глядя из настоящего в прошлое, понимаю, что нас привлекала сама атмосфера клуба. Свойская, уютная, почти семейная. Валентина Васильевна относилась к нам с подлинным интересом и даже привязанностью. Она устраивала чаепития со сладостями, на которые слеталась вся окрестная молодежь. И даже то, как мы со снисходительной теплотой называли ее — «бабушка-шахматистка», — говорит само за себя. Дело было не только в мяче и «квадрате». «Белую ладью» делал клубом особый притягательный дух места, который вдохнула в казенные стены энергичная пенсионерка советской закваски.

Когда они впервые появились в клубе, стоял, наверное, октябрь или ноябрь. Они впустили с собой холод — не только в смысле физическом, в смысле осенних граду-сов, сыроватых и зябких, но и метафизический холод опасных улиц.

Это была довольно устойчивая компания. Рослый азиат Сабир. Распираемый страшным жиром Квашнин. Дородный тип с плоским лицом и вызывающим бычьим взглядом, прозываемый Гиркласом. И еще мелкий гопник с шутовским, девчачьим голоском — наглая рожа по фамилии Марьясов, зачинатель конфликтов.

Они постояли, рыская глазами вокруг, вынюхивая в нашем воздухе какую-то свою выгоду. Разоблачились, постучали шахматами, поиграли в теннис, побили в пол баскетбольным мячом и ушли. Однако с тех пор стали захаживать в клуб.

Они портили и калечили имущество. Повиснув, гнули хлипкие баскетбольные кольца. Уносили в карманах теннисные шарики, шахматные фигуры. Воровали без надобности — просто чтобы навредить, напугать. Исподтишка цеплялись к посетителям. Гирклас ходил между клетчатými столами, за которыми сидели оробевшие толстолобики, и, склонив башку, сыпал на черно-белые столешницы перхоть. Выцарапывал ее своими короткопалыми руками из короткой, как свиная щетина, шевелюрки. Ногти его всегда были сгрызены до мяса.

Никто не желал связываться с этой бандой, совершившей порядком уже вполне взрослых преступлений. Именно они в зимней темноте искалечили школьного физрука арматуринами и усадили его в инвалидное кресло за какую-то шутку в адрес Квашнина.

Квашнин... Огромная, пугающая туша весом за центнер. Маленькие свирепые глазки всажены в румяный шмат бесформенного лица. Квашнин ходил по школе, выпятив грудь и поворачивая тяжелую голову со светлыми волосиками и несколькими подбородками, осыпал хриплой бранью целые толпы у подоконников. Чрезвычайно деятельный злодей, он держал себя широко, властно — даже свои побаивались его.

Чуть ли не единственным, кому он немного уступал пальму первенства, был Сабир. Не только самый сильный, но и самый «нормальный, неглупый», как отмечали многие. Владелец тела, снабженного твердой и рельефной мускулатурой, что чув-

ствовало как-то даже через серый пиджак, который он носил в школе. Сабир не смотрел вызывающе, а все больше позыркивал искоса или исподлобья. Вперед не лез, по-восточному хитрый. Обычно при гоп-стопе, совершаемом его бандой, стоял в стороне и цедил сквозь зубы инструкции подчиненным. Возможно, его удовольствие заключалось именно в руководящем процессе.

Его длинные опасные руки в деле я видел лишь раз. Я проходил зимой мимо школы и заметил клубящуюся черноту на фоне ее белого фасада. К стенке был приперт какой-то парнишка. Над ним в раздавшемся бандитском полукруге Сабир чинил расправу. Парень, едва стоя на ногах, пытался закрыть лицо, и Сабир шипел: «Руки убрал! Убрал руки!» Жертва не имела права даже защититься. Он желал повелевать ее инстинктом самосохранения.

В отличие от стратега Сабира третий, обычно наблюдаемый в этой компании — Гирклас — был оголтелый, агрессивный и глупый тип. Круглые пустые глаза на плоском лице пребывали в постоянном поиске тех, кто на него якобы пялится. Среднего роста, кабаньей комплекции любителя пива, он носил джинсовую жилетку и кожаную кепку в любое время года. Длинная цепь спускалась звенящей гиперболой от пояса и поднималась в карман.

Последний был Марьясов — низкорослый лилипут с подлой улыбочкой и тонким голосом, который он нарочито повышал до детского. На ничтожной его роже было написано полное отсутствие совести. Такой индивид, взятый за пуговицу в подворотне, будет плакать, дрожать, предавать. А потом в той же подворотне — пинать тебя в лицо при поддержке приятелей.

...Мы боялись их. И в общем, небезосновательно.

Больше всех их дурного внимания доставалось Гере — самому колоритному из нас благодаря злополучной африканской прическе. Обычно мы с ним выбирали место поближе к столу Валентины Васильевны, не без надежды на ее старушечий авторитет. Они занимали столы у окон. Лишь опускались на стулья их зады — и с их черного края клуба к нам начинали нестись мерзкие шепотки: «Бяша... Бяяяшаааа... Баран... Козел... Бяшаааа».

Гера сосредоточенно смотрел на доску. Лицо его темнело от сдерживаемых эмоций, а мою спину лизал зябкий сквознячок.

Упившись страхом, исходящим от нас, они покидали клуб, и мы вздыхали спокойно, недовольные собой, но упрямые.

В тот вечер все было как обычно. Они снова заявили, шептали, действовали на нервы. Мы делали вид, что не замечаем.

Однако на сей раз глуховатая Валентина Васильевна каким-то чудом разобрала эти змеиные шипения, несшиеся от окна.

— Это вы так на кого? — вдруг спросила она, подняв голову. — Что это за такое «бяша»?

— Это мы так на него, — кивнул Гирклас на Геру, глядя на нее своими борзыми, круглыми, как монеты, глазами.

— Почему?

Банда грянула из всех глоток так, что заплясали фигуры на столах.

— Потому что он кучерявый, как баран!

— Да, смотрите, у него кудряшки, как у бяшки, — подключился малявка Марьяс.

— Анкл Бенс! — захохотал Квашнин.

Сабир молча улыбался восточным лицом.

— Как вам не стыдно, — воскликнула Валентина Васильевна, — он человек, а не баран!

То, с какой горячностью и непониманием природы зла она произнесла свои слова, вызвало ракетный залп дурацкого смеха. Покраснел и сжался Гера. И тут Валентина Васильевна окончательно все испортила.

— Смотрите, он может на вас и в суд подать! — пригрозила она без тени иронии.

И Гера, весь малиновый, повернулся и сказал дрожащим от негодования голосом:

— Я на вас не в суд подам... я на вас в зуб подам!

Раздалось кровожадное «О-о-о»... Все они восторженно переглянулись и как бы внутренне потеряли ладоши, а Марьяс добавил пискляво:

— Никто тебя за язык не тянул, бяша.

— Так, ребята, встали, оделись и вышли отсюда, — сказала Валентина Васильевна. — Поднимайтесь, говорю, кругом и на выход!

Возможно, они бы остались на местах. Что может им сделать комичная, нелепая бабуля? Однако из соседнего зала выбрел на медленных ногах Калин Калиныч. Скользнул внимательным взглядом по лицам: нашим, жены, их... И они встали и пошли к вешалке. Гирклас смахнул фигуры с доски, и они со звонким рассыпчатым стуком посыпались на пол.

— Анкл Бенс, тебе п...ц! — пролаял Квашнин свирепо, продевая руки в рукава. И такто безразмерный, он носил оверсайзовую длинную куртку с этническим узором. Узор навевал тоскливые мысли о странах, утопающих в песке и зное, где людям режут глотки большими кривыми ножами.

— Мы тебя ждать будем, бяша, чтоб ты подал на нас в зуб, — напомнил Гирклас.

Сабир ничего не сказал, только зыркнул исподлобья, надевая косуху, этот крупный молодой волчара.

Я видел их боковым зрением, смотря в стену. Сегодня не был тот день, когда я чувствовал себя смелым. Сегодня никто не чувствовал себя смелым. Все, уткнувшись в доски, делали вид, что увлечены интеллектуальной индийской забавой. Однако же нет, имелось исключение.

— А ты че смотришь? — вдруг сказал Гирклас.

— Смотрю, — повторил быстрый говорок Лехи.

— Че пялишься, спрашиваю? — и голос Лехи эхом ответил:

— Пялюсь.

— Ты че, попугай, оперился? Че, птица большого полета? — влез Квашнин.

— Кто?

— Ты.

— Ты?..

— Ты, белобрысый.

— Ты, белобрысый?

Леха еще не начал отвечать, как следует. Это было легкой разминкой. Однако они насторожились. Дело было даже не в том, что говорил Леха. А в скорости речи, указывающей на быстроту его ума, в пацанской бойкости, которая за этим чувствовалась. Не знаю, обдуманно ли он бросал им вызов, или ему просто стало тошно от их наглости и вседозволенности, и он не мог уже молчать.

— Ну тогда мы и тебя ждем, белобрысый, — процедил Гирклас.

— А ты не забудь подать в зуб, бяша, — прибавил Марьяс в адрес Геры. — Мы тебя тоже ждем.

Они вышли и грохнули дверью так, что могучий сквозняк пронесся по всем залам.

Столы и стулья, лишённые этой черной заразы, очистились и засияли отраженным светом длинных ламп. И будто очистился, стал прозрачен сам воздух.

Мы были удручены уже произошедшим и тем, что нас ждет при выходе из клуба. Они явно собираются нас подкараулить. Их гогот и голоса доносятся снаружи.

Они стоят на крыльце, под бетонным козырьком. Уже темно, накрапывает нудный дождик. Лето — наше, солнечное время — кончилось. Теперь надолго наступило их — сырое, темное — время.

Валентина Васильевна расстроилась не меньше нашего.

— Ребята, не бойтесь, я вас выпущу, тут есть выход на ту сторону. Нет, ну какие наглецы! Какие хамы! Еще и дверью... И маленький туда же! Какой нахаленок. Я и не знала... — это было светлое советское создание, надевающее медный таз и громоздящееся на клячу при виде любой несправедливости.

— Они воруют шахматы, я видел, — сказал Леха.

— Да ты что? Именно? А я думаю, кто ворует фигуры? Наверное, это они, точно...

— Да, точно они.

Она встала, звякнув ключами, подождала, пока мы возьмем одежду, и повела нас через зал с баскетбольными кольцами на другую сторону дома.

— Может, вас проводить? — спросила она, открывая дверь.

— Не, не надо, — ответили мы, пристыженные.

Думаю, многие хотели в тот вечер перестать быть собой. Перестать быть такими, какими мы себе не нравились.

При этом наш путь до дома вспоминается мне как серия ценных мгновений давно прошедшей жизни. Мы тихо гуськом прошли квадрат, спустились тропинкой мимо футбольного поля и двинулись к нашему общему дому по аллее акаций между садиком и школой.

Мы шли широко, в ряд, почти касаясь друг друга руками, плечами. Дымчатое небо клубилось над нами. Дождик уютно шелкал по козырьку моей кепки. Мы только что избежали опасности и теперь делились эмоциями. Нервно всхлывали, ощущая себя героями, ускользнувшими от врага.

Мы пытались выработать план, единую позицию. Что делать дальше? Продолжать ли посещать клуб?

Пашка сказал, что пока воздержится. «Всякое может случиться», — несколько раз повторил он с мрачной усмешкой человека, умудренного опытом.

Загадочное это «всякое», которое «может случиться», неожиданно вызвало у меня приятное возбуждение. Его слова относили мыслью к далекому детству. К самодельному шалашу из одеял, брошенных на стол в большой комнате. Ты сидишь там внутри с другом и думаешь об опасностях темной квартиры, где вы остались сегодня без взрослых. И бояться приятно, потому что вы вместе и потому что у вас есть фонарик-жучок. Жизнелюбивым вжиканьем своим он разгоняет тяжелую тишину и знобкий страх.

Слава Петруков честно признался, что очкует, и с горечью пообещал однажды расстрелять всех этих мразей из отцовского ружья.

Леха сказал, что он не боится, но если никто не будет ходить, то и ему незачем. И все помолчали с радостной неловкостью, потому что уже единогласно решили примкнуть к Пашке.

А доселе безмолвно размахивавший своими длинными конечностями Птица вдруг понес какую-то околесицу. Якобы в прошлом году он дрался с Квашниным и скинул его со снежной горки.

Птицу подняли на смех, однако он упорствовал. Все было именно так: Квашнин прицепился к нему на горке, Птица ловко уклонился от его страшных кулаков и толкнул его к низкому бортику. Неуклюжий Квашнин потерял равновесие и свалился вниз. Встав, он заревел и покинул поле боя, пригрозив Птице карами. Потом он при-

водил на разборку Сабира. Но за Птицу вступился Макс Цейцин, потому что его мать и мать Птицы знакомы. Квашнин ушел ни с чем, но затаил, и теперь, когда все обошлось, попадаться ему на глаза Птице не с руки. Поэтому он тоже не будет ходить в клуб. Он и так уже достаточно рисковал.

Поверить во все это было трудно. Квашнин привел Сабира, чтобы разобраться с Птицей?.. За Птицу заступился Цейцин — самый влиятельный человек на Привозе, которого мы знали?.. Да и вообще — Птица, который в любой сложной ситуации делает ноги, справился со свирепым Квашниным?

— Да Квашнина просто измотать! Он быстро задыхается. У него большое сердце, поэтому он жирдяй! — уверял Птица.

Впрочем, эта сказочная история тоже украсила наше сплоченное, жмущееся друг к другу шествие домой. Движение в осенней терпкой темноте, разбавленной тусклым светом фонарей. Он отражался в мокром асфальте, и зернистость асфальта напоминала мне, близорукому, серебристый мох, по которому мы шагали, как по другой планете.

Леха шел рядом со мной и шелестел своим демисезонным пальто-непромокайкой алюминиевого цвета. На уровне моего плеча двигалась его голова в черной шапочке. И я испытывал тихую гордость от того, что этот маленький смелый человек идет рядом со мной. Держится со мной. На самом ли деле он не боится? Возможно ли такое?

Гера, по своему обыкновению, отделился от всех и двигался чуть впереди.

— Ты бы постригся наголо, Гера, — сказал Слава Петруков, наполовину укоризненно, наполовину сочувственно. — Тебя будут меньше трогать.

— Не буду я угодять этим уродцам, — ответил Гера. — Отбросы общества. Собаки.

Гера всегда использовал какие-то забавно нафталиновые слова, вероятно, из лексикона матери. Он принципиально не желал пользоваться обценной лексикой, а когда совсем припекало, цедил: «Еп... понский городской».

— Правильно. Не стригись, — поддержал Леха.

Долгое время мы с ними не сталкивались. Нас разделяли разные смены, а Леха еще год назад перевелся в восемнадцатую школу за березовой рощей — с лингафонным кабинетом и углубленным изучением английского.

Однажды мы видели издали всю их толпу, стоящую на заднем крыльце школы. О том, что это именно их толпа, я, слепец, понял, лишь когда услышал жуткий хрип Квашнина: «Лошье!» — судя по всему, относящийся к нам.

Мы ускорили шаг, но они не сделали попытки нас догнать. И все как-то постепенно замаялось, выровнялось. Иногда время само разрешает все проблемы, разрушает гордые узлы. Время перебивает запах, ослабляет вражду, разбавляет страсти. Вокруг меняются люди, лица, меняешься ты, медленно, почти незаметно.

И наступила зима, и прошла, а потом пришла весна девяносто седьмого.

В конце мая — начале июня мы снова стояли во дворе вдвоем. Мне кажется, я помню блеск его волос на солнце, сияние его чистой кожи, уже покрывшейся загаром. Леха постукивал ивовым прутом по ржавым футбольным воротам и говорил, что собирается к бабке в деревню. А сразу от нее поедет в лагерь.

— И что ты там будешь делать? — спросил я.

Я ни разу не был в лагере. Мне даже в голову не приходило, что можно поехать в лагерь.

— Письку теребить, — ответил он хладнокровно и улыбнулся. — Ну как «че», Жень? Отдыхать... Купаться...

Так он сказал. И я подумал: хорошо вот таким вот Лехой — острым на язык, с сияющими волосами, с блестящей кожей, с зоркими насмешливыми глазами — поехать в лагерь. Сражать девчонок пением. Восхищать пацанов футбольным талантом. За-

горать, купаться в реке или озере, нырять, пугать народ. Хорошо быть Лехой. Помню чувство зависти, кольнувшее меня. Зависти от того, насколько он цельный, клевый, хороший. И от того, насколько внутри раздроблен, несобран, ни к чему не устремлен я. И мне было жаль, что я не увижу Леху долго, все лето.

В каком-то смысле больше я не увидел его никогда.

* * *

Я вспоминаю вчерашний вечер — вечер пятницы, одиннадцатого марта двадцать второго года.

Я отводил дочку на танцы, держа ее за руку. Наверное, никогда в жизни я не вел ее за руку так по-настоящему. Так вкладываясь всей душой. Всего себя помещал я в этот процесс. Я говорю о силе ощущений — теплоты и мягкости ее ладошки в моей ладони, восторга внутри... Я чувствовал что-то большое, чего не испытывал раньше, когда жизнь была намного спокойнее, надежнее, счастливее.

Дождаясь дочку, я вышел на крыльцо танцевальной студии. Я стоял, облокотясь о перила, и наслаждался этим сохраненным ощущением детской ручки в моей взрослой руке. Как бы не спеша распаковывал его внутри себя. Размещал, расстилал, распределял по всему телу. Удерживая это волшебное, дрожащее счастье, я наблюдал, как густеет воздух. Как вечерние цвета сменяют друг друга и гаснут. И это было прекрасно, как в детстве, когда по-настоящему видишь в первый раз. Мне было удивительно: так этот источник радости, выходит, всегда доступен мне?..

А потом из большого магазина напротив, с черного хода, стайкой высыпали покурить его работницы. Менеджеры зала или продавщицы. Уже совсем стемнело, и их сигареты драгоценно вспыхивали, и зажигалки искрились, и голоса звучали возбужденно, волнуяще. Я думал, как они там работают и о чем разговаривают — шутят они или обсуждают проблемы? — и о том, что сейчас у них минутный перерывчик и они испытывают удовольствие от своей импровизированной курилки и краткого мига общения. И я чувствовал в себе это их удовольствие — оно перешло в меня.

Может быть, никогда в жизни я был счастливее, чем вчера, одиннадцатого марта двадцать второго года. Никогда *так* не вел дочку на танцы. Никогда *так* не замечал меркнувшего неба. Никогда *так* не прислушивался к голосам незнакомых женщин. Невозможно чувствовать такое счастье, когда все хорошо. Его поднимает на поверхность тяжелый противовес. Ненастье, скорбь, трагедия. Серотониновая кладовая открывается лишь в трудный час.

Я рассказываю об этом жене.

Она сидит за компьютером в своей комнате. Я стою у стены, заложив руки за спину. Она щелкает семечки и просматривает ленту в соцсети. Я никогда не смотрю ленту. Ее бесконечность гнетет меня, конечного, смертного, с отмеренным количеством лет жизни, восходов и закатов, написанных страниц, сказанных слов.

Моя хваткая, деятельная жена сменила множество профессий. Некогда гимнастка и ихтиолог, она работала в банках, создавала ИП. Сейчас она продавец в секс-шопе. Это магазин с дорогой немецкой продукцией. После введения «адских санкций» и падения рубля цены на нее взлетели под потолок. Выручка резко упала. А значит, и зарплата.

Вообще-то, жена отнюдь не слабая, а боевая, жизнелюбивая натура. Я не прочь иметь в запасе многие ее качества. Но сейчас она растеряна, утомлена, и я хочу поддержать ее, и вот рассказываю ей о танцах, женщинах, деревьях.

Над компьютером, на длинной самодельной полке, тянущейся почти во всю стену, сидят, свесив ножки на шарнирах, ее куклы — давнее увлечение. Какой-то ус-

вершенствованный подвид Барби. Некоторые, особо ценные, коллекционные, находятся в коробках. Они стоили нам немалых денег.

Между нами давно есть сложности, однако я искренне радуюсь, когда она покупает очередной экземпляр для своей коллекции. Меня умиляет, что моя жена, мать двоих детей, лучший продавец магазина для взрослых — до сих пор девочка, не потерявшая интереса к куклам. Оправдывая свою страсть, она упирает на то, что это хорошее вложение. «Когда-нибудь их можно будет продать за большие деньги». Возможно, этот день близок, а деньги не окажутся столь большими. Иногда что-то грустное происходит в жизни, после чего интерес к куклам теряется.

— ...А сегодня я шел мимо уродливо обрезанных деревьев у школы и понял, что и в них присутствует какая-то красота, — говорю я. — И я подумал: есть ли красота объективно, или мы создаем ее, глядя в мир? Мне кажется, то, что мы считаем уродливым, страшным, со временем способно перейти в красоту, никак не изменившись внешне. Возможно, в мире ничего нет, кроме понятой и непонятой красоты.

Жена кивает с саркастической улыбкой:

— Только это нам и остается. Радоваться обрубкам. Выжимать воду из камня.

— Да ладно. Я знаю множество людей и стран, которые живут хуже.

— ...Я только сегодня осознала. Уже никогда не будет лучше. При нашей жизни. Не будет прочного мира. Не будет элементарных вещей, хороших машин, косметики. Не будет самолетов. Как можно жить без самолетов?

— Построим свои.

— И куда летать? Построим пару материков?

— Не знаю, — отвечаю я. — В истории еще ни разу не было так, чтоб никак не было. Как-нибудь да будет. Подождем и начнем приспособливаться.

Она скептически поджимает губы. Она не верит моим словам.

— Так хотелось, чтобы не мы, но хотя бы дети... — говорит она. Голос ее дрожит.

Мне нужно сказать какие-то нужные слова, но у меня их нет. И я ухожу в свою комнату и сажусь за компьютер писать о Лехе. Потому что случившееся с ним в конце девяностых прошлого века, может стать, имеет прямое отношение к февралю и марту двадцать второго.

* * *

Что мы делали без него тем летом?

Когда чьи-то родители уезжали на дачу, мы набивались в свободную квартиру и резались в «Мастер Файтер» и «Дабл Драгон». Это была запретная забава: считалось, что «Денди» садит кинескопы телевизоров. Когда удавалось раздобыть мяч, играли в «восемь банок», футбол или «квадрат». Хотя без Лехи все это теряло значительную часть очарования и увлекательности. На дамбу не *шаландались*, клуб окончательно забросили.

Высоколобые шахматы мы сменили на потрепанную карточную колоду — порочное развлечение уличных пацанов. Мы и раньше поигрывали, но в то лето карты стали настоящей повальной нашей болезнью.

Собирались в основном у Пашки. Его родители, молодые, классные — кажется, оба они занимались бизнесом, — придерживались взгляда: лучше пусть дети картежничают дома, чем где попало.

Игра шла на наказание. Наказание заключалось в системе телесных неприятностей для проигравшего согласно номиналу карт, которые остались у него на руках: фофан, подзатыльник, сайка, колодой по носу и так далее.

Слава и Пашка били гуманно. Гера и Димас Птица лютовали вовсю. Стоик Гера призывал не жалеть его, потому что он-то, выиграв, никого жалеть не будет.

Слова своего он держался. После того как у Пашки после Гериного удара колодой пошла носом кровь, Пашка от души наорал на Геру, обозвав тупым бараном и бигудями, и с наказаниями было покончено.

Мы попробовали играть на деньги, но это выпустило черные страсти. Возникли ссоры. Денег нам выделялось мало. Я получал кое-что на карманные расходы, но все же иногда залезал в родительские карманы в недрах гардеробного шкафа. Гере денег не выдавалось вообще, кроме как на проезд до УПК. Чудак, но упорный, он ходил туда через полгорода пешком, на что-то откладывая.

Странная вещь деньги — их понятие для меня тесно связано с будущим. Накопить деньги, чтобы в будущем купить... вложить деньги для того, чтобы в будущем не работать...

Как мы представляли себе будущее тогда, сжимая в потных кулаках ельцинские купюры?

Когда я думал о будущем, на моем внутреннем экране первым делом появлялся даже не я, а хорошее заграничное пальто. В нем, с непокрытой головой, вечно, как на закольцованной гифке, я романтично шел через золотую осень по звонкому, чистому тротуару какой-то далекой страны.

Все мечтали уехать. Все, повторяя за взрослыми, были уверены, что «отсюда надо валить». Стремилась в основном на запад: в Америку, Англию, Италию, Францию... Заманчивый для нас восток ограничивался Японией и Китаем. Мне хотелось сбежать от холода в сыроватой нашей квартире, от насморков и неуверенности всех мастей. От этого мрачного времени, не дня, а целого года сурка. От дикого капитализма, от страшной Чечни. От обыденности. Казалось, тьма воцарилась навеки над нашим отчинским Ершалаимом. Это время не вывозили и мои родители-бюджетники. Они были потеряны, обобранны, они влачили жизнь. Но я-то не собирался влачить. Я хотел шествовать по ней в заграничном пальто. Я и представить не мог, что мир этот кончится совсем скоро.

«А я бы съездил в Диснейленд», — как-то сказал Леха. Это было неожиданное признание, ведь мы изо всех сил старались казаться взрослыми. Но никто не поддел, все согласно закивали: Диснейленд — это круто. Лехе было можно хотеть в Диснейленд и не быть за это осмеянным. Каждый бы втайне, наверное, не отказался от такой поездки.

...Словом, лишаться денег было жалко, а играть просто так — уже неинтересно. И тогда в ход были пущены аудиокассеты. У каждого дома имелись ненужные, невостребованные магнитофонные записи. Их легко ставили на кон и лишались без сожалений.

Кассеты многократно переходили из рук в руки. В основном всяческая некотируемая попса. Апина, Овсиенко, Казаченко, «На-На», «Комиссар»... Однако попадалась и тяжелая артиллерия: «Металлика», «Дип Перпл», «Назарет», «Депеш мод», «Джудаш Прист» — Пашкин вклад в азартное дело. Была и более тонкая музыка: «Битлз», «Куин», «Дженезис», которую, оказывается, слушал (а может, наоборот, не слушал) Слава или его родители. «Битлз» и «Куин» постепенно перекечевали во владение эстета Геры, который через годик заразит этой музыкой меня. И все вокруг изменится, и будущее сделает шаг в настоящее...

В конце августа я съездил в деревню к недолгому мужу сестры Вадиму, сманенный обещанием стрельбы из карабина по бутылкам, и вернулся едва живой, с приступом холецистита. Мама винила в этом жирное деревенское молоко, подаваемое на стол с жирным деревенским мясом, и ругала деревню и Вадима. К нему она уже давно была настроена критически, подозревая в командировочных грешках.

Меня поместили в детское отделение ЦРБ, напоминающее колонию для несовершеннолетних. Провинциальный филиал бандитского Петербурга, набитый жуткими

персонажами. Неизвестно, какое существование ожидало меня там, но соседом моим оказался парень по фамилии Беляев и по прозвищу Билли Закид. Крупный дерзкий тип с красным шрамом на черепе от ножевого удара в разборке с «южными».

Значение загадочного «Закида» он раскрыть не смог, и я, эрудированный, тотчас поведал ему о ганфайтере по имени Билли The Kid: давным-давно в Сочи мы с родителями смотрели в кинотеатре ковбойский фильм «Вне закона». После обретения истории своего погоняла Закид одарил меня снисходительным расположением. Выписывался я из больницы, зная все криминальные расклады города и унося в кармане номер телефона нового знакомого с позволением звонить в случае проблем.

От больничной режимной скуки и чтоб не отличаться от местных сверх меры, я приистрастился к курению. За две-три недели, там проведенных, я высадил несколько пачек «Магны». По выходе мне стоило труда бросить эту неудобную привычку. Я не рисковал обнаружить ее перед родителями и отдавал ей дань, когда их не было дома, выскакивая на балкон и помещая сигарету в деревянную прищепку, чтоб дымом не пропахли пальцы.

В один из таких балконных вечеров я обозревал двор в милицейский монокуляр, когда-то найденный отцом на улице, и приметил в садике на веранде Герину голубую шапку-петушок. Деспотичная мать, обрекая сына на насмешки, не разрешала ему носить стандартный головной убор того времени — черную гандонку.

Я вышел из дома и заявился на веранду.

Помимо Геры, там еще оказались Птица и Слава — то есть все, кроме Пашки и Лехи. Я намеревался вызвать фурор своим опытом лежания в бандитской больнице, однако самого меня ждали гораздо более важные новости.

Оказалось, что Пашка днями отчалил в Екатеринбург. Насовсем. План по переезду его родители разработали давно, но чрезвычайно долгое его осуществление привело к тому, что план этот перестали принимать всерьез. Все думали, что он так и останется невоплощенным проектом. Мне было жаль этой потери. Именно Пашка сплавивал компанию.

Но главной новостью было случившееся с Лехой. То ли в деревне у бабки, то ли в лагере, в каком-то подвале, где Леха чиркнул спичкой в поисках закотившегося мяча, взорвался газовый баллон. Леха перенес клиническую смерть. Теперь он находится в коме. Восемьдесят процентов его тела обожжено. По счастью, ему не вышибло глаза. Но не факт, что он будет видеть.

Так говорили они, ходя вдоль стены. Бросая подробности скупой, по одной, как палки в костер...

Я не мог поверить в это. Но для шутки это было слишком чудовищным. И веранда зловеще пустела, невзирая на заполнение ее их муторным хождением.

Мы встретились с Лехой через несколько месяцев, ближе к зиме. В тот день, придя все на эту же веранду, я увидел знакомое алюминиевое пальцецо и черную шапку. Леха стоял спиной ко мне и набивал мяч на ножке. Видимо, шла игра «двадцать одно», которая, вообще-то, делалась бессмысленной в его присутствии. Он с ходу набивал по двадцать одному разу на ножке, на колене, на кулаке, на «головке» — имелась в виду голова — и заканчивал игру победителем.

Я сказал: «Всем привет», и он обернулся ко мне лицом.

Собственно, как такового лица не было. Его словно вывернули наоборот. Мне показалось, что я вижу внутренности, изъеденные могильными червями.

Я осторожно пожал его изъязвленную ожогами, незнакомую ладонь. Спросил про клиническую смерть, правда ли это. И он ответил равнодушно: правда. Нет, он ничего

не видел, никакого тоннеля, ничего не ощущал. Просто потерял сознание. Когда вышел из комы, оказалось, что прошло много дней.

Я попытался представить, каково ему было впервые увидеть себя в зеркало. И не смог вообразить настолько мощное отчаяние.

Говорил он мало, гораздо меньше, чем раньше. Уже не в крик, равнодушно, апатично. Прежний, яркий, манящий мир для него кончился. Было покончено с пением, с поездками в лагерь, с планами на Японию и Диснейленд. Закрылось множество вариантов судьбы, связанных с публичностью, вообще с пребыванием с людьми лицом к лицу. Потому что лица *не было*.

Может, когда-нибудь ожоги заживут? Но нет, слишком уж они въелись в его лицо, заменили, задушили его. Им не на что меняться уже.

Я думал, он перейдет на домашнее обучение. Но он продолжал посещать свою школу с углубленным английским и лингафонным кабинетом. Большую школу, полную маленьких любопытных людей. Какую силу надо иметь, думал я, чтобы идти по коридорам и ловить их взгляды. Любопытные, бесцеремонные, жестокие. И ни одного восхищенного, радостного — такого, к каким он привык.

...Леха вернулся. Но не вернулся. Его звонкий голос прекратился во дворе. И сам он, сравнительно с собой прежним, почти совершенно исчез. Он продолжал играть с нами, но присутствовал лишь внешне. И нам стало в его обществе как-то неловко.

С ним как будто случилось что-то стыдное, в чем он явно не был виноват. Но мы смотрели на него (не смотрели, поглядывали) так, будто он именно виноват или будто мы перед ним виноваты. Так смотрят на пойманных мелких преступников. На солдат разгромленной армии. На пленных. Они как бы являются носителями зла уже потому, что с ними случилось *нечто*. Они не могут не нести в себе невольного пассивного зла.

Возможно, и в Лехе расцветали эти вынужденные цветы зла. Мне кажется, такое увечье неизбежно накладывает отпечаток на личность. Меняет психику.

Эмоции на его лице стали почти неразличимы. Игра мимики оскудела, залитая багрово-розовой застывшей лавой. Возможно, он плакал, возможно, он улыбался, но маска скрывала это, обрекая его на непонимание и одиночество.

Пролетали месяцы. Той весной я часто видел Леху с балкона в бинокль. Он ходил по глубокой луже за восемнадцатым нашим домом в резиновых сапогах, все в том же алюминиевом плаще и черной шапке. Бродил, как заведенный, туда-сюда, сунув руки в карманы, глядя себе под ноги.

О чем он думал, что искал в мутной воде? Или просто, гипнотизируемый, отключался от невеселых мыслей?

Тогда у меня возникло одно странное убеждение. Как будто все это должно было случиться с кем-то из нашей компании. И это выпало на долю Лехи. Какой-то мистический огонь опалил его, а мог бы опалить меня. Не опалил меня, потому что опалил его. Все это было как-то взаимообусловлено и взаимосвязано.

Мне и сейчас кажется небезосновательным ход моих мыслей. Возможно, если бы он не уехал и не увез с собой очарование игры в «квадрат», мы бы не начали так истоиво и азартно играть в карты. Гера бы не заполучил записи «Битлз», «Куин» и «Кино» и не подсадил меня на них через год. Научившись играть на гитаре, чтобы петь эти песни, я начал записывать себя на магнитофончик «Томь», ужаснулся своей картавости и бросился исправлять недостаток. Восстановленная в правах «р» сделала возможной сперва недолгую подработку в театре в год смерти отца, а потом дикторство на местной радиостанции «Сибирь».

Перебравшись в Красноярск с женой-студенткой, я устроился на анахроничное проводное Радио России. Счастливо осел на три года в полупустом здании на Меч-

никова с высокими потолками. Потом на девять лет пополнил ряды госслужащих. И наконец, поплутав, помыкавшись по мелким работенкам, снова вернулся к микрофону и наушникам.

Будущее растет из прошлого. И неожиданные всходы появляются на поверхности подчас через годы, десятилетия. Кем бы я был, если бы не то лето без Лехи, без карт и кассет «Битлз»? Кто бы я был? То, что Леха уехал, повлияло на мою судьбу. То, что с ним случилось плохое, сделало возможным мою вполне благополучную жизнь.

Тем своим ощущением я ни с кем не делился, но испытывал к Лехе стыдливую, несколько тяготящую меня благодарность. И одновременно сомневался, не слишком ли сочувствую, не перебор ли, не вранье ли это все. Хочу ли я по-прежнему быть его другом или только уверяю себя, что хочу — из благодарности, из странной этой вины, основанной на странном убеждении? Я не мог быть уверен в том, что он понимает правильно мое душноватое внимание, и что я сам расцениваю его правильно, и что мы вообще способны понять друг друга и самих себя. Маска, все искажающая маска встала между нами.

Каким-то образом, уж и не помню как, я оказался у него дома. Не знаю, чего тут было больше. Теплового интереса, сострадания, праздного любопытства? Желания показать, что мне, которого он выделял, по-прежнему есть до него какое-то особое дело?

Подробности размылись. Помню отчетливо лишь крашенную в серый цвет металлическую дверь, а все, что за ней — с трудом.

Леха сидел с младшей сестренкой. Кажется, была весна или осень, и через окна лился особый свет — зовущий, пробуждающий желание жить, бегать, кричать. Свет этот заливал довольно мрачную четырехкомнатную квартиру, всю в темных тонах. И по этой большой квартире уныло по пятам за сестренкой волочил Леха. Волосы его еще более отросли, став уже не артистической позой, а насущной необходимостью. Спортивная повязка прикрывала обожженные уши, придавая ему флер какого-то карате-кида из «детских» голливудских боевиков.

Леха слонялся за сестренкой и нудным, безжизненным голосом призывал сделать что-то, что обычно старшие считают своим долгом навязать младшим. Что-то неприятное и нужное. Например, съесть манную кашу. При этом он явно испытывал дискомфорт от того, что я застал его в этом слегка постыдном качестве няньки, и от того, что сестренка его не слушается. Помню, что Леха привел ей последний приберегаемый аргумент, утаенный козырь: «Съешь кашу — получишь Куку-Руку». На что воспитуемая, залившись злыми слезами, выкрикнула: «Задаvisь своей Кука-Рукой!»

Эта неправильная, но обаятельная фраза вызвала у меня улыбку. Леха тяжело вздохнул и продолжил уговаривать непослушное дите, которое не было от него никоим образом зависимо, но от которого он был зависим. Ловкий, смелый, самоуверенный Леха...

Сейчас я понимаю, что, помимо беспомощности перед маленьким ребенком, отмеченной мною в его терпеливом, грустном обращении с ней, была не только слабость, но и нежная привязанность. Любовь сознательного и страдавшего уже человека к несознательному, нестрадавшему. А тогда я расценил его поведение как слабость, уже неспособность, как когда-то во дворе, к лидерству. К обезоруживающему кавалерийскому наскоку, к разгромному словесному потоку.

Странно, я не помню, зачем я пришел и как ушел от него тогда, а «Задаvisь своей Кука-Рукой» вряд ли уже забуду. Эту фразу, заоконный манящий свет и тяжелый, взрослый вздох моего товарища. Вздох, вобравший в себя не только обидную, ничем не заслуженную реплику сестренки, но и многие дни и ночи в невеселых мыслях человека, оказавшегося враз безнадежно отделенным от других.

* * *

Да, да, но я глава семьи, думаю я, просыпаясь. Мне снилось тревожное: голод, разрушенные города, борьба за выживание. Пока я спал, нервная система работала на пределе — пот глубоко промочил подушку. Обрывки сонных мыслей крутятся на поверхности. Они такие: как бы то ни было, я глава семьи. Я должен что-то сделать, чтобы ее защитить.

На часах всего лишь три, но я знаю, что больше мне не заснуть. Я встаю, тихо одеваюсь, обуваю ботинки и, стараясь не шелкнуть замком, выскальзываю из дома.

На улице тепло, то есть не так холодно, как могло быть. Только временами, когда я прохожу дворами по направлению к школе, я попадаю во владения слабого, но упорного хиуса. Он леденит мои щеки.

В домах горят немногие окна. Некоторые тлеют таинственным розовым свечением. Там на подоконниках вызревает какая-то зеленая растительность. Готовится расцвести, войти в мир и прожить скромную травяную жизнь. Мир для людей, существ с воинственной красной кровью, становится все более враждебен. А обладатели зеленой крови любви ему. Они будут существовать вечно, будут кивать на человеческие трудности, как китайские болванчики, невзыскательные, всепринимаящие. Под любыми бомбежками, под радиацией от ядерного взрыва они лишь станут сильнее и удивительнее. Им принадлежит будущее. То будущее, которое будет без людей.

Эта мысль неожиданно ободряет меня. Жизнь живуча, настырна, беспринципна. Жизнь не может быть уничтожена до конца. Везде останутся ее мельчайшие агенты, бесчисленные споры. Они будут упрямо распространять себя, собираться в более сложные соединения, переходить в органику, чтобы в конце концов стать человеком, а потом и Богом. Возможно, когда-нибудь, через миллионы или миллиарды лет на другой планете они снова соберутся в Е. Э., его жену и детей.

Я думаю об этом, уже привычно нарезая круги вокруг пустой школы. Я отделяю шагами свое глубинное, истинно важное, от поверхностного, суетного, смертного. От тревоги в спокойствие ухожу в себя, чувствуя, как снаружи шуршит надетый капюшон, как лижет щеки хиус, ставший почти незаметным оттуда, где я нахожусь сейчас.

Из раза в раз я прохожу мимо новых моих богов красоты, которых раньше я принимал за изуродованные деревья. Теперь я вижу истинную суть вещей: все есть борьба красоты с пока еще некрасотой. Все есть захват красотой новых территорий для вовлечения их в мир внутреннего преображения.

Грязный весенний снег сверкает под ногами черными алмазами. Чернотой, грязью, уродством, нищетой, убийствами, войнами, землетрясениями, каннибализмом, кровосмешением, летящими навозными мухами красота распространяется по свету. Чтобы, пронизав уродство и мертвечину изнутри, взорвать ее и быть вечно. Служить утешением для отчаявшегося, спятившего с ума рода людского. Красота — раковая опухоль, которая исцеляет. Ожог, который делает лицо прекрасным. Но нужно время, чтобы привыкнуть к этой красоте.

* * *

Тем летом мы снова не «шаландались» на дамбу. Три месяца Леха отмахал в клетчатой рубашке с длинными рукавами, полотняных свободных брюках и закрытых туфлях — скрывая израненную кожу то ли от жаркого солнца, то ли от взглядов. Даже такая естественная и любимая им вещь, как плавание, стала для него недоступной. Раздеться на пляже на виду у других было невозможно. Много виделось непосильной зада-

чей. За полгода шрамы его не поблекли, а будто еще более покраснели. Периодически он исчезал. Ложился подлечиваться в больницу. Я подолгу не видел его.

Не могу сказать, что я постоянно тусил только с этой дворовой компашкой. Период тесного общения сменялся периодом одиноких блужданий по подворотням, свалкам, стройкам в поисках приключений и случая испытать себя. Я то запойно читал, разочаровываясь в людях, то забрасывал книги и шел к людям. Присоединялся к какой-нибудь «толпе», зависающей в подъезде с пивом и клацающей ножиками-«лисичками».

Тогда началась мода на эти ножи: две звонкие стальные половинки откидывались, высвобождая из себя лезвие, и сходились в ручку. У каждого была «лисичка» в различном оформлении. Мы стояли и цокали ими, вращая. Нам нравились производимые звуки и стремительное порхание у ладони их раздвоенных спинок.

Той весной, разобрав четыре «лисички», я изготовил перчатку Фредди Крюгера.

Мы с моим одноклассником Ростиславом постоянно рисовали на уроках Фредди, за что учителя нередко изгоняли нас в коридор. Долгие часы мы проводили у меня или у него дома, воткнув в жерло видака кассету с шестой частью. Там лицо монстра уже почти не скрывалось в многозначительной тени. Мы перерисовывали все эти оставленные фальшивым киношным огнем рытвины, овраги, озера, кратеры.

Странная потребность, страсть даже реализовывалась в этом рисовании. Почему нам *хотелось* рисовать Фредди? Что привлекало нас в образе обгоревшего детоубийцы? Его склонность к крутой афористичности? Изобретательность насылаемых смертей? Сюрреалистическое существование человека, потерявшего лицо? Да, все верно.

Кроме того, сериал этот был о подростках — ярких индивидуальностях, самостоятельных детях чуть старше нас. Они приезжали в школу за рулем «кадиллаков», ярко одевались, занимались сексом. Они излучали внутреннюю свободу и обитали в реальности вечного американского лета. Через Фредди мы соприкасались с этими ребятами. С другим, более, как нам казалось, настоящим, полноценным, заманчивым западным миром, в который мы стремились.

Однако было и еще кое-что. В отличие от заурядных школьных вандалов, изображавших на партах лишь голые женские тела в М-образную раскоряку, мы почуяли красоту в обожженном типе, режущем половозрелых американских засонь.

Красота была в некоей симметрии рисунка шрамов на левой и правой сторонах лица Фредди — и в асимметрии, образуемой рукой в перчатке и рукой без перчатки, таилась она. Красота содержалась в дрянной бесформенной шляпе и в ветхом красно-зеленом свитере, провонявшем гарью и сожженной плотью. Красота была противоречива и непознаваема, страшна и жестока, и тем драгоценна.

И задумка воссоздать когтистую лапу спрингвудского потрошителя имела целью прикосновение к красоте. Меня очаровало лязгающее ее изящество, блестящее ее совершенство.

Именно в это время на балконе у отца появился запас листового железа для ремонта крыши. А приятельство с Вадимом — на тот момент еще мужем сестры — сделало меня обладателем самопального сварочного аппарата.

Я несколько дней не вылезал с балкона. Вырезал из железа части стальной длани ножницами по металлу. Пригонял их к толстой старой перчатке. Плющил молотком кусочки алюминиевой проволоки, делая заклепки. Надев толстые темные очки от старенького кварцевого аппарата «Солнышко» для лечения моих «корост», приваривал к фалангам лезвия от «лисичек».

Наконец я приделал металлическую часть к кожаной основе.

На мой, перфекциониста, взгляд, перчатка смахивала на квадратнопалую конечность робота. Однако в целом я остался доволен.

...В контексте рассказываемого изготовление перчатки Фредди может показаться странным. Каким-то нездоровым жестом. Разговором о веревке в доме повешенного. Все же я дружил или близко приятельствовал с человеком, все тело которого покрывали ожоги. И хотя смастерить когтистую лапу я задумал задолго до несчастного случая, и хотя я убеждал себя, что произошедшее с Лехой никак на это не повлияло... Однако сейчас я думаю, что в какой-то степени это было протестом против одного старого чувства.

Ему я был склонен поддаваться с детства. Стоило маме с тихой укоризной сказать, например, когда я квелю ковырялся в каше: «А *другие* голодают» — или если я забивал на учебу: «А *другие* хорошо учатся», — я ложился на лопатки. Внешне я сердился на маму и этих *других*. Я назло не ел и не учился, чтобы им досадить. Но в глубине души был ими побежден.

Другие обладали необъяснимой властью надо мной. Они имели коллективное право навязывать мне образ действий примером своей ущербной жизни. Нереальные, чисто гипотетические, являлись они в мое сознание в моменты моральной шаткости. Кололи бесстыжие глаза мои, пока я, сдавшись, не присоединялся к их диктующему большинству, не следовал их примеру. Отказываясь от себя, своих желаний, я испытывал горькое удовлетворение: теперь я с вами, теперь я, как вы, теперь вы довольны?

Со временем эта, в основном мамина, манипуляция *другими* перешла с внешнего на внутренний уровень. Уже не родительский голос, а мой собственный сокровенный голос твердил про *других*. Про их невзгоды, про их светлое трудолюбие, про их скорбную, но полную достоинства жизнь в противовес моей, подлой, легкомысленной и беспечной.

В каком-то смысле перчатка эта была попыткой бунта. Я бросал ее в лица *другим*, которым она могла показаться бестактным, недружественным, агрессивным актом. Среди этих лиц с особой укоризной на меня смотрело (как бы смотрело) лицо Лехиной матери. Такое же остренькое, как у Лехи, с мелкой беличьей мимикой. В жизни она казалась мне симпатичной, с правильной стойкостью, без уныния переносящей их семейную беду.

Вряд ли на самом деле ее бы задел мой демарш. То есть то, что *могло показаться* демаршем. Однако в ее глазах я как бы не имел права делать эту перчатку. Хотеть эту перчатку. Смотреть на нее с восхищением. Потому что рядом находился Леха — страдающий в противовес мне человек. Безусловный, идеальный *другой*.

Но ведь я захотел перчатку до несчастного случая и даже до знакомства с Лехой, — защищался я. Захотел просто как я сам, как отдельный индивид, захотел для себя. Перчатка эта не была способом как-то поддеть его. Это была моя собственная перчатка Е. Э.

И однако же, чисто теоретически это не была в полной мере перчатка для себя, перчатка, не могущая задеть Леху. Я похвастался ею Ростиславу, по секрету: все-таки это все могло вызвать педагогические помехи, родительские беспокойства и прочие неприятности. Однако когда секрет этот начал распространяться в школе и во дворе, не сказать, чтобы мне это не нравилось. Что я на это не рассчитывал.

Посмотреть на нее приходили разные компании. Я вылезал в подъезд, вкусно лягал, выпрямляя стальные пальцы с ножами, снимал, передавал другим. Это был мой триумф. Успех человека, который сделал что-то выдающееся. Кажется, я вообще не думал о Лехе. И все же, наверное, было в этой ситуации что-то схожее с тем случаем, когда я беспокоился за Леху, видя его голову на середине дамбы и втайне желая, чтобы что-то случилось.

И когда один из приволокшихся на мою площадку дворовых утырков сказал: «О, перчатка, а в седьмом подъезде живет Фредди Крюгер», — какой-то частью своего суще-

ства я, видимо, ждал этого, приближал это. Я подсознательно хотел, чтобы это наконец случилось, миновало и опустилось в мох прошлого. Это было неким доворотом винта. Конечной точкой, к которой какой-либо процесс обязательно должен подойти, обернувшись противоположностью. Попытка освободиться от Лехиного влияния, от любого влияния *других*, деспотичных страдальцев, сильных своей сплоченностью против несправедливо-благополучных одиночек. Попытка задним числом сорвать неснимаемые варежки, которые надевали на меня в летние ночи.

Я не уверен, узнал ли Леха о перчатке. Вскоре ее одолжили знакомые пацаны «попугать подруг» и не вернули. Я не расстроился и даже почувствовал облегчение, избавившись от нее. Совесть моя все же была не совсем чиста. Однако если бы Леха и узнал — что изменилось бы? Леха все равно отдалялся — сам по себе, постепенно и постоянно. Компашка тоже сама по себе начала распадаться, без всякой перчатки. Мы все реже собирались поиграть в приставку, или в мяч, или в карты. У любой компании есть срок годности, срок жизни, как у человека. А возможно, дело в том, что взрыв, опаливший Леху, с тех пор не прекращался, а медленно, как на слоу-перемотке, двигался, постепенно настигая и отъединяя нас друг от друга.

Это высветилось особенно явно осенью, когда в город приехал Пашка, что стало поводом для полного сбора компании. У родителей его остались тут какие-то дела с документами.

В яркой, апельсиновой екатеринбургской куртке, еще более раздавшийся и щекастый, Пашка ощущался уже нездешним. Все были рады его видеть. И одновременно мне показалось, что, глядя в его веселые глаза, мы немного играем в непоколебимость дружбы. Была и некоторая иррациональная обида на Пашку: уехал, предал. И какое-то даже злорадство: приехал, соскучился...

В этот раз они впервые встретились — новый Пашка и новый Леха. И новому Пашке было неловко, и эта неловкость перешла на всех нас.

Стоял теплый сентябрь или начало октября, с буйством красок и особой прощальной прозрачностью в воздухе.

Не помню, кто предложил, но все поддержали идею сыграть в «квадрат». Мяча ни у кого из нас не нашлось, и мы решили попросить его в клубе у Валентины Васильевны, «бабушки-шахматистки». Этически это было нелегким шагом. Мы испытывали стыд. Оттого что забросили клуб, оттого что спасовали перед гопниками. Оттого что она, старая женщина, повела себя более храбро, чем мы.

Я вызвался парламентаром.

В клубе было пусто, и полосы пыльного света падали в большие окна, на клетчатые столы без шахматных фигур.

Валентина Васильевна пришоркала из глубины помещений на шум хлопнувшей двери. Что-то стало с ее походкой — Валентина Васильевна именно что шоркала, как древняя старуха. Она узнала меня, назвала по имени, улыбнулась очень изменившимся, похудевшим лицом.

Оказалось, клуб то ли закрывается, то ли уже закрылся. Калин Калиныч недавно умер, инфаркт, и у нее самой уже нет сил заниматься клубом. Здесь теперь будет «фит-ныс». «Пусть прыгают, все лучше, чем по углам того-сего».

Я от души посожалел о Калин Калиныче, о клубе. Все же с ними была связана какая-то важная часть меня.

Мы немного поговорили о том о сем. То есть говорила она, а я смотрел на нее, и старался не смотреть, и видел только вспышками: обескровленные губы, дряблые руки, пожеванную шею. Ощущал старческий кисловатый запах тела, уже примеряющегося к могиле. И смеха, знаменитого гуркающего смеха, не было.

Наконец я вспомнил про мяч. Рассказал, что в город на денек приехал наш друг Паша. Он теперь живет в Екатеринбурге. Мы хотели попросить мяч, но его, наверное, уже нет?

Она кивнула, удалилась в другую комнату, вынесла уже изрядно потрепанный, но боевой кожаный снаряд и сказала, что мы можем взять его насовсем. Я поблагодарил ее, не глядя ей в глаза, в лицо, а смотря вниз, на ее стоптанные сапоги цвета старой слоновой кости, а когда-то давно, видимо, белые...

Мяч был встречен с воодушевлением. Мы прошли на квадрат.

Асфальт совсем пришел в негодность. Внешние его края откололись и отчались, как мятежные территории от государств, которым некогда принадлежали. Трещины нарушали удобную гладкость. Это делало наше противостояние труднее.

Желтели деревья, пригревало солнце, на сердце трепетала паутинка осенней грусти.

Леха, Паша, Слава и Димас составили первую четверку. Мы с Герой встали в запас.

Леха с ходу начал валить Славу и Диму, делая исключение для более слабого Пашки. По крайней мере, кое-что не изменилось: ему, как и раньше, было приятно низвергать первых и водружать на их место последних.

Толстенький Слава играл тем не менее ловко: с виду неуклюжим, косолапым движением закручивал мяч, который затем вился по сложной для отражения дуге. Димас был быстр, но не очень точен. Пашка метался по полю в расстегнутой куртке. Потел покрасневшим лицом, матерился. Впрочем, сегодня никто не пытался посадить его на «говно». Он был гость.

Леха, виртуозно вкатив мяч на носок, как лиса — колобка, серией набиваний на ножке неторопливо приближался к краю чужого поля и посылал мяч метким набросом на наименее защищенный пятачок.

В ожидании атаки на свой квадрат он стоял вольно, руки в карманы. Пропуская гол от других, уже не ругался трехэтажным, ничем не выказывал досады, но хранил невозмутимое, скучающее выражение.

Во втором и третьем турах Леха привычно взял меня под свое покровительство и начал устранять конкурентов.

Мы с ним занимали два самых неудобных квадрата. Два других, противоположных, удачно огораживались с тыльной стороны небольшим комплексом уцелевших турников и забором. За ним в разрывах тополиной листвы маячил дом с шахматным клубом. А за нашими квадратами, отделенное коротеньким спуском, расстилалось футбольное поле. Точнее, давно уже просто кусок земли, заросший бурными бодыльями. При забивании нам гола мяч беспрепятственно ускокаивал далеко в поле, и нам приходилось бежать за ним, преодолевая сопротивление высокой травы.

От этих побегушек я быстро взмок и притомился, однако все равно чувствовал терпкую неповторимость дня. Я откуда-то знал, что мы собрались здесь в последний раз. Больше уж нам не играть в мяч всем вместе, хотя мяч отдан в вечное наше пользование.

Когда я в очередной раз, досадливо сопя, пошуровал в поле, я заметил поднимающуюся на него с дальней его стороны, от школы, группу фигур. В моих глазах это было мешаниной неразборчивых пятен, но у меня екнуло сердце. Даже сама расплывчатость их распознавалась мозгом безошибочно. Они двигались особенно, утрированно. Их жесты, их походки стремились выделить их из числа обычных людей и показать, что они чудовища, от которых необходимо спастись.

Вот они полностью появились из-за пригорка и направились в нашу сторону, постепенно уточняясь. Я различил размахивающую руками и ногами грозную тушу Квашнина в пестрой куртке. Маленькое пятно семенившего Марьясова. Голубую джинсовую кляксу жилетки Гиркласа. Методом исключения можно было ожидать рядом с ними Сабера. Но нет, рядом с Гиркласом маячили какие-то две другие фигуры.

Наши замерли на квадрате и тревожно переговаривались, глядя в поле. Особенно панически звучал полупшепот Славы: он предлагал линять. На физиономии каждого лежала озабоченность. Все посматривали на Леху. Тот, на кого раньше возлагались все надежды, самый храбрый, с его находчивым говорком, матерщинным ядерным арсеналом, с быстрыми движениями маленького, но крепкого тела, — теперешний Леха был самым слабым звеном из нас. Угрюмый паренек с изуродованным лицом. Вспомнилось мое посещение его дома, его волочение вслед за сестренкой. Безнадежное, унылое увещание и ее пожелание «задавиться своей Кука-Рукой». Вспомнилась стычка в шахматном клубе и обещание Гиркласа с ним поквитаться.

Вид Лехи был непроницаем. Получив от меня мяч, он вскатил его на носок и принялся набивать на ножке, не стремясь поскорее спровадить его на квадраты соперников.

С поля доносились голоса: грубый, глупый Гиркласа, привизгивающий фальцет Марьяса, нарочито насадный Квашнина, и еще какой-то властный, довольно приятный, смутно знакомый. Он вроде как посмеивался над Квашниным.

Я стоял на своем квадрате и не оборачивался, словно, как в сказке, взгляд назад мог обернуться бедой. Все внимание я направил на выплясывающий на Лехином сапоге мяч. И все на своих квадратах словно задумались и смотрели на мяч, посылаемый в воздух Лехой — руки в карманы, алюминиевый плащик, кеды, высоко на макушку вскинутая шапка, — и снова опускающийся на носочек. Зачарованно взирали на него и двое за квадратом — Слава и Паша, как будто он один и мог всех спасти.

Голоса уже приблизились достаточно, чтобы разобрать слова. Я понял, что большее воодушевление у гопников вызвал мяч, чем наша компания, и у меня отлегло от сердца. Уступим им поле, они сыграют и, по обыкновению, напоследок пушечным ударом пошлют мяч куда-нибудь далеко, да все равно не дальше земли.

Я все-таки оглянулся, точнее, всем корпусом немного двинулся по диагонали, скосил глаза на людей, подходящих к подъему с поля на асфальт. И все стало на свои места: эта насмешливость незнакомца в сторону Квашнина, которую мог позволить себе разве что Сабир да еще Макс Цейцин — именно тот, кем и являлся четвертый из пяти.

Цейцин был лет на пять постарше нас с Герой, однако общался со школьными бандитами, будучи кем-то вроде смотрящего. Симпатичный брюнет с аккуратной прической, он обладал повадкой не мелкого гопника, но более крупного представителя криминалитета. Роста и комплекции он был приблизительно моих, то есть скорее хрупким казался на фоне прочих горилл, големов, амбалов. Однако возвышался над ними, как вид человека возвышается над видом животных.

Одевался он всегда одинаково и для тех лет необычно: тонкая, изящная кожанка с клепками и замочками, обычно расстегнутая, обнажала белую рубашку с расстегнутым воротом. Низ его тела облачался не джинсами и не спортивными штанами, но поблескивающими шелком черными стрелчатými брюками, ниспадающими на черные же, сверкающие лаком туфли.

В нем была тонкость, аристократичность молодого принца воров, хотя о его подвигах я не слышал. Вроде бы он никого не грабил, никого не бил по роже, вообще ничего не делал, чтобы проявить себя, — и все же имел исключительный авторитет. Сила его и власть происходили не из физических достоинств, а из чего-то еще. Свобода пронизывала все его существо. И одежда не затягивала в себя и не гиперболизировала Цейцина, а *обрамляла*, и движения его были свободны, и слова выходили свободно и естественно. Это был человек со стороны преступного мира, но как бы небесного — беспечный ангел опасных улиц.

Цейцин интриговал меня: я заметил его с год назад, образ его показался мне завидным, я с удовольствием имел бы такой образ. А сейчас интерес мой был подстегнут, ибо принц воров приближался к нам со своей девушкой, судя по тому, что она держалась с ним рядом.

— О, да тут нормальные пацаны, Димка Птица и его братва! — весело сказал Цейцин. Он взошел на квадрат ленивой, блатной походочкой и подал руку Димасу. На шее его сияло светлое кашне. Ветерок ерошил волосы, стриженные «теннисом». И все удивились — не врал Птица, что пользуется расположением Цейцина — и вздохнули с облегчением и завистью.

Поворачиваясь, Цейцин как будто слегка притормозился телом и взглядом: он увидел набивающего мяч Леху, точнее, лицо его увидел.

Слева от меня возникла рыхлая громада Квашнина: казалось, пригибается под ней асфальт. Справа появилось джинсовое тело Гиркласа — тоже сырой, дюжий хряк... Следом обозначился в огромных, мульташных кроссовках Марьяс.

— Здорово, пацаны! — пропищал он. — Можно нам с вами в мячик?

Они по очереди всходили на квадрат, оглядывались и так же, как Цейцин, невольно задерживали взгляд на Лехе.

Узнали ли они его? С той стычки прошло два года. Леха почти не вырос, но трудно было за шрамами разглядеть лицо, которое дерзко вело себя в шахматном клубе. Хотя, может, они и узнали.

Гирклас пялился на Леху дольше всех, хлопая своими бляшками на плоской морде.

— Э, слышь... Ты че, в молоко нырял? — наконец ляпнул он.

Леха ничего не ответил и лишь продолжал в бешеном спокойствии набивать на ножке мяч, наверное уже уехав за сотню. Однако Цейцин окоротил приятеля.

— Ты, Гирклас, сначала по мячу попади хоть разок, — усмехнулся он. — Видишь, какой артист.

— Давай мяч, попаду.

— Артист, одолжи снаряд, — попросил Цейцин миролюбиво. — Гирклас будет падать. Будет нам показывать класс, — срифмовал Цейцин, и Леха молча, чуть изменив угол касания, направил мяч в сторону Гиркласа.

Гирклас совершенно не умел набивать — мяч не слушался, улетал высоко. Гирклас суетился, метился ногой и запинывал его еще выше, носясь по всему квадрату, задрал башку. Кожаная кепка свалилась с нее и лежала на асфальте — непростая, с мехом, с дорогим нубуковым отливом. С трудом попав по мячу пять-шесть раз, Гирклас изо всех сил лупанул по нему, и мяч улетел далеко в поле.

— Срал, срал, да упал, а сел — храбрился, — урезонил неумеху Цейцин, глядя отечески, с печалью. Нет, он нравился мне, этот беспечный ангел воровского мира. На него хотелось смотреть.

Однако тут до того обретавшаяся где-то за моей спиной показалась девушка и стала справа, между двумя полями квадрата. В капроновых колготках, темном платье и короткой бордовой курточке, она держала двумя руками сумочку, закрывшую колени.

И мое сердце заныло и забилося почти болезненно. То самое, очень спокойное, сонное лицо — такое спокойное и сонное, что я бы заподозрил в этом какое-то отклонение: что-то блаженное и сейчас было в нем. Некрашенные, блеклые волосы собраны в простой узел. На бледном лице едва угадывались веснушки, как звезды в светлеющем утреннем небе. Я не видел Таню Самотесову больше года: она окончила школу.

— Заскучала? Неинтересно тебе? — спросил Цейцин подругу, повернув к ней голову.

И вдруг — еще одно чудо — все лицо ее оживилось, озарилось скупой улыбкой. Оно осталось спокойным, но все же утратило эту тревожащую блаженность. Теперь лишь

появилось у меня чувство, *что* я вижу на самом деле: пожалуй, не такое уж красивое, но симпатичное лицо девушки из благополучной семьи. Такую хотелось защитить, рассмешить. Накинуть ей на плечи пиджак, провожать темными аллеями до дома. Почему она с ним? Что она за человек?

— Да нет, играйте. Мне интересно, — ответила она бесцветным тоном, слегка повернувшись к нему, и снова улыбнулась. Голос был, пожалуй, не очень приятен, тускловат, но словно бы приобретал какие-то достоинства уже тем, что исходил из нее.

Мяч, который со всей дури пнул Гирклас, закончил прыгать и скрылся в заросшем поле.

— Димас, слетай за мячиком, не в падлу! — повелел Цейцин. И Птица с готовностью сорвался с места, побежал в озеро травы, вернулся с мячом и передал его Цейцину.

— Ладно. Играйте. Я-то футболист мертвый, еще хуже Гиркласа, — сказал Цейцин вальяжно. — Буду судьей, — и несильно, «щечкой», послал мяч Лехе, которого, видимо, выделил из всех.

Чтоб показать справедливость свою, а может, и правда будучи справедливым, Цейцин не дал гопникам согнать нас с поля, а замещал ими выбывших на «говно».

Не сказать, чтоб игра велась в полную силу. Все-таки над нами довлела опасность расправы. Поэтому мы забивали друг другу, а незваным гостям подавали учтиво, в четверть силы, делая исключение разве что для Марьяса. Этот лилипут в огромных кроссачах получал сполна. И все же очень быстро все мы, кроме Лехи, были вытеснены и перешли в разряд зрителей.

Цейцин, расположившись со своей подругой на деревянном «крокодиле» недалеко от квадрата, вытянув ноги, курил и подбадривал Леху.

— Артист, вали Андрюху! Не ссы! — призывал он. — Он большой, но добрый! Мочи Марьяса! Только с мячиком не попутай. Вкати Гиркласу в очко! Он «Татру» между ног пропустит!

Звук его приятного мужественного голоса чисто, отчетливо летел к нам по осеннему воздуху, и трепетал на ветерке подол ее платья, из которого выходили такие же таинственные, как и на репетициях, стройные ноги в темном капроне. Я смотрел на нее и только краем глаза на квадрат. Теперь, когда расстояние размыло ее лицо, я снова сомневался, красива ли она или хотя бы симпатична? Необычна ли она, или всеми этими качествами облакает ее положение подруги Цейцина?

Неужели она настолько совершенна или настолько пуста, что это окружение никак не пятнает ее? — думал я. Как бы выгодно Цейцин ни отличался от всех них, он был представитель криминалитета. Я знал, что хороших девочек привлекают бандиты, но все же... Неужели ей все равно? Если они вытащат ножи и начнут нас резать — оживится ли ее лицо так же, как когда Цейцин обратился к ней? Преобразится ли гримасой нормального человеческого ужаса? Значат ли что-то для нее *другие* люди, на которых она смотрит сонным взглядом? Соотносит ли она себя с *другими*, как я, не смотря на мои попытки уйти от их диктата?

Тем временем возгласы Цейцина, адресованные Лехе, возымели эффект. Леха ожил. Старым испытанным способом он приблизился к квадрату Гиркласа, набивая мяч, и аккуратно приземлил его на дальний уголок.

— Ты че творишь, паленый! — возмутился Гирклас.

— Ша, Гирклас! Это игра! — Цейцин встал с «крокодила» и подошел ближе к квадратам, азартный. В руке у него появилась серебристая цепочка. Он вращал ее на пальце, создавая прозрачный, как стрекозиное крылышко, воздушный круг.

— Пусть забивает Марьясу!

— Он в своем праве, — Цейцин добавил терпеливого металла. — Не нравится — не играй! Давай, артист, не ссы, вали его! Я разрешил.

Далее разыгралась дуэль между новичком, впервые вертящим в руках оружие, и опытным снайпером. Леха бил из разных положений — ураганно, метко, блестяще. Цейцин открыл в нем что-то закупоренное, что не могли раскупорить все мы, вместе взятые. Я смотрел, как он разнообразно прижигает, стелет, садит, закручивает. Никогда при нас он не демонстрировал свое мастерство на сто процентов. Он придерживал мяч двумя ногами и, подпрыгнув, ювелирно вбрасывал его в самый оголенный сектор. Принимал «на головку», прикрытую вязаной шапкой, бил с колена, подавал плечом... Да, он был артист. И сейчас он выступал перед Цейциным.

С двух сторон, напрягаясь, его валили Квашнин и Марьяс, но Леха был неуязвим. Это было какое-то чудо. До меня только теперь дошло: Леха — «слабое звено» — самый защищенный из нас. Что ему было терять? Какого будущего страшиться? Для него оно уже наступило и отменилось насовсем. А когда у тебя нет ничего, тебе доступно все.

С каждым забитым голом Гирклас раздражался все более подлыми оскорблениями: «Фредди Крюгер», «паленая рожа», «ныряй в кипяток»... Квашнин сипел: «Лошьян горелый». Марьяс, просто под руку, под ногу, выкрикивал матерные слова своим голосом развращенного малолетки. Цейцин же знай себе покручивал цепочку и супил брови. Его, похоже, здорово развлекало это — не только игра в «квадрат», но и игра эмоций, и то, что выбешены его приятели, и что Леха злится и молчит. На все это он поглядывал как стратег, заваривший бучу.

Таня Самотесова встала с «крокодила», подошла к Цейцину и положила голову на его плечо. И это было так по-женски доверчиво и хорошо... И одновременно так невозможно, так неприятно. Я возненавидел ее за эту ее голову на его плече. Неужели она и правда не понимает, кто он? Неужели она и правда не помнит меня?

И вдруг, удаленный из реальности этими ревнивыми мыслями, я услышал:

— ...Сам ты паленая рожа! Рожа как блин! Я нырял в кипяток, а ты из говна не выныривал!

Леха стоял, подавшись к Гиркласу всем телом, сжав обожженные кулаки.

Гопники замолчали. Вывести из себя жертву было целью этого полива, но чрезмерно яростный крик маленького Лехи сбил их с панталыку.

— Ч-е-е? — протянул Гирклас. — Че, горелый, поверил в себя?

И тут воспоследовало одно из фирменных Лехиных словесных избиений, которые заставляли во дворе женщин останавливаться, смотреть на него и качать головами.

На слово Гиркласа Леха отвечивал десять. Килограммы злых металлических опилок летели в Гиркласа и секли его кожу. Я думал, Гирклас кинется и сметет Леху, но он явно был в смятении, кое-как отлаиваясь. И вот уже широко заулыбался Цейцин, с одобрением глядя на Леху. И вот уже, оглянувшись на Цейцина, загоготал Квашнин, и Марьяс, всегда примыкающий к большинству, рассыпал мелкий подлый смех.

Гирклас, раскрасневшись, сделал было несколько угрожающих шагов к Лехе. Но Леха сам подсеменял к нему своей дробной походочкой, и Гирклас остановился.

Все замолчали, глядя, что будет дальше, но дальше не было ничего, и Цейцин сказал:

— Хорэ, Гирклас, артиста не бить, — предупредил насмешливо, хотя всем и так было ясно: Гирклас струсил.

Наконец Гирклас проиграл и запнул мяч далеко в поле.

— Ну и на хрена ты это сделал? — урезонил его Цейцин. — Дурак ты дурак.

На плече его продолжала лежать ее голова с сонными, с поволокой, водянистыми глазами. Я смотрел на нее — на них обоих. Да он счастлив — вдруг пришло мне на ум. И это было так удивительно в отношении Цейцина, одного из этих созданий. Он счастлив и поэтому милостив, снисходителен ко всем — и к ним, и к нам.

Цейцин поднял руку и приобнял ее голову — положил на нее сверху ладонь... Мне хотелось отвернуться, но я смотрел.

Мяч был вне игры. Следовало вернуть его на квадрат. Взгляд Цейцина заскользил и остановился на мне.

— Хочешь сыграть? Ну дуй за мячом, — велел он расхоленно, весь купаясь в своем счастье.

— Я не играю, — рот мой сам выронил эти слова, без согласования с мозгом.

— Че так? — обронил Цейцин лениво, жмурясь, словно кот на солнце, однако убрал руку с головы Тани Самотесовой.

И я ответил, опять совершенно бездумно, что я кривоногий. И слепошарый. И вообще не люблю играть в мяч. Я смотрел на него в упор и не видел, совершенно ничего не видел от страха, — но что-то говорил, молол, нес. Такое изредка случается. Я теряю управление и наблюдаю со стороны за своим самовольно действующим и говорящим телом. И ничего не могу поделать, и кажусь дерзким, безбашенным, но это не от храбрости, а от прострации, от растерянности.

Сейчас меня избьют, поднимут на смех, прилепят кликуху... Надо же, ляпнул: «кривоногий, слепошарый»...

И тут сквозь потерянность и даже какие-то горестные, подступающие слезы я почувствовал что-то, что можно, наверное, назвать *восторгом самоуничтожения*. Красоту неизбежного краха. Непобедимость изуродованного дерева, — могу прибавить сейчас. А ведь лучше — легче — быть наконец избитым не ими, но Цейциным, — подумал я тогда. К тому же все это и так должно было кончиться чем-то символичным. Все это с самой встречи нашей компании наливается в воздухе, желает разрешиться... Да, пускай меня избьет Цейцин.

И еще я подумал: она точно увидит меня тогда. Не видя меня вертикального, она не сможет не среагировать на меня, постеленного ее криминальным хахалем горизонтально, — на эксклюзивного, отличного от других человека, в крови, в боли посмотрит она. И ужаснется. Она увидит тогда и узнает меня и запомнит навсегда — кривоногого, слепошарого, избитого сверкающими туфлями до зеленой рвоты.

Почему мне было так важно, чтобы она узнала, вспомнила, запомнила меня? Я ведь даже не был влюблен в нее, а был всего лишь раздосадован ее невниманием к себе и вниманием к Цейцину. Почему я сказал: «Я кривоногий и слепошарый», — те слова, за которые я гонял Птицу через забор садика? Не знаю. Во мне дрожала какая-то очень тонкая хрустальная нота, от которой слезы наворачивались на глаза.

Я стоял на ватных ногах, ожидая расплаты. Но Цейцин, вертя свою цепочку, вдруг равнодушно перевел взгляд на Птицу:

— Ну, Димас, тогда ты сбегай, по дружбе. Раз этот у вас кривоногий. Лети, Птица! Макс сыграет, — сказал он о себе в третьем лице.

И я почувствовал недоверие, потом схлынувшее напряжение, а за ним облегчение и разочарование. Разочарование от того, что не стану *мертвым героем*, избитым Цейциным за неповиновение. Разочарование в Цейцине как в одном из идеалов негибаемого человека жестоких улиц.

«Макс сыграет», — сказал он... И эти слова, показавшиеся бы мне десять минут назад классными, цейциновскими, словно оголились и показали свою самодовольную, напыщенную суть. «Сбегай по дружбе», — сказал он Птице, и я, недавно столь очарованный им и хотевший быть на месте Птицы, порадовался, что я не его друг.

Птица снова сбегал в поле за мячом и передал Цейцину. Цейцин несколько раз набивал на ножке: не хорошо, не плохо, обычно.

— Понял, как надо? — обернулся он к Гиркласу.

И в этом тоже было столько хвастливости, надутости. Возомнивший о себе хрупкий пижончик в курточке. Я уже не смотрел на него. Я смотрел на нее, как бы исчезающую из моего поля зрения, когда он убрал руку с ее головы, и сейчас методом монтажной склейки снова появившуюся на «крокодиле». Увидела ли она меня? Увидела, что случилось? Но было слишком далеко, и я, слепошарый, почти не различал ее лица.

Цейцин начал игру. Все — и свои, и Леха — посылали ему осторожные мячи. Пасовали, а не били. Однажды Леха то ли по ошибке, то ли для проверки ударил немного рискованно. Цейцин едва успел отразить атаку и с улыбкой погрозил Лехе пальцем:

— Смотри мне! Я таких шуток не люблю.

Не так-то был и справедлив беспечный ангел криминалитета, когда дело касалось его лично.

— Но это же игра, — напомнил я. Я чувствовал себя неприкасаемым. — Он в своем праве.

— Э-а-а-а? — Цейцин обернулся ко мне всем телом, плавным, гибким движением барса. Этот хищно-улыбчивый разворот показывал, что он запомнил мою неуступчивость и раздражен ею.

И я замолчал и как-то враз растерял все завоеванное. Не знаю, что изменилось. Момент истины прошел. Я уже не хотел быть избитым, слепошарым и кривоногим.

Мне крайне хотелось, чтобы Леха окунул Цейцина в «говно». Но он забивал Квашнину и Марьясу, а Цейцину передавал мяч накатыком. Несмотря на свой недавний героизм, на вернувшийся к нему голос, на возвратившуюся удачу. Мы несовершенны, да, несовершенны.

Не помню, как они разделили «золото» и «серебро». Вероятно, Леха дал себя победить этому нестигаемому молодому человеку с царственной судьбой. Возможно, это противостояние не являлось таким принципиальным для Лехи, как для меня.

Никто из нас не был бит. Как только завершилась игра, все они, более не обращая на нас внимания, покинули квадрат и устремились на прострел мимо шахматного клуба в сторону Четвертого Привоза. Цейцин подождал, пока, поднявшись с «крокодила», приблизится его подруга. Они взялись за руки и тронулись вслед за удаляющимися фигурами, снова уже шумящими и представляющимися как бы не людьми, а чем-то нечеловеческим, страшным. Стихийей, которая способна перемолоть любого, бросившего ей вызов.

Вот, в общем-то, и все.

Предчувствие не обмануло меня. Мы и правда больше никогда не встретились полным составом. Мне попадались осколки компашки во дворе. Мы здоровались, разговаривали. Но больше не играли в квадрат, в карты, в приставку и во что-либо другое. Вскоре я уже несомненно влюбился, и мне стало не до кожного мяча. Я повзрослел, воспрянул, воспарил и чуть не натворил бед.

В это же время я вплотную занялся музыкой. Вокруг меня закрутились другие люди, а многие знакомцы из прошлого постепенно начали пропадать. Девяностые, сменяемые двухтысячными, утягивали их в свои воронки, поскольку личности эти не могли принадлежать никакому другому времени.

Исчез со всех горизонтов Цейцин, с ним исчезла странная девушка Таня Самотесова. Гирклас окончил девятый и ушел из школы в неизвестном направлении к неизбежной смерти. Звезды злобного Квашнина и осторожного Сабира воссияли над небосводом Привоза. Впрочем, под их мертвящим светом мне предстояло пробыть уже недолго: впереди маячили институт и «взрослая жизнь».

Я часто гулял вдвоем с Герой или Ростиславом в окрестностях бывшего шахматного клуба, а ныне «фитнесс»-зала. Валентина Васильевна встречалась мне изредка

в ветхом зеленом пальто, с пожилым тонконогим пуделем на поводке. Я здоровался с ней стесненно, глядя на ее старые сапоги, а если она была далеко, старался незаметно свернуть и увильнуть от встречи. Почему, не знаю.

Через какое-то время я окончательно перестал видеть шаркающую согбенную фигурку, натягивающую собачий поводок. Наверное, она умерла.

Леху я видел несколько раз. Последний — года через три после той памятной игры в квадрат, во время кошачьего гона. Это явление, судя по всему имеющее какие-то оккультные корни, периодически захватывало наш Привоз, как бубонная чума. Орды подростков с жестоким огоньком в глазах гонялись за бездомными кошками по дворам, ловили несчастных животин и казнили на чердаках и в подвалах.

Я шел к подъезду; мне навстречу со всех ног неслась кошка, спасая одну из девяти своих жизней; за кошкой валила толпа — человек двадцать разных возрастов. В ней я заметил Леху. Он вытянулся и раздался в плечах. Поросль на щеках скрывала часть его шрамов. Еще более длинные песочные волосы по-прежнему стягивала пестрая повязка: повзрослевший карате-кид. Наши взгляды пересеклись. Мы кивнули друг другу, но не остановились поговорить.

Был ли он активным участником кошачьего гона или присоединился к толпе из любопытства? А может, кто знает, целью его было спасение кошки? Когда я наводил о нем справки (я не смог найти его в соцсетях, проверил профили повзрослевших Геры, Славы, Пашки, Птицы, и ни у кого в друзьях не нашлось его — не нашлось вообще никого из прежней компашки, не странно ли это?), я вышел на его одноклассника. Он отозвался о Лехе как о хорошем парне, имеющем во время учебы популярность среди женского пола. Это стало неожиданностью для меня. И тут же я вспомнил все те качества, за которые любил его, — внешность была далеко не главным среди них. Одноклассник прибавил, что Леха женился еще в универе, имеет двоих детей и живет в Красноярске. Теоретически однажды мы можем столкнуться на улице. Найдем ли мы, что сказать друг другу?

* * *

Я возвращаюсь с работы. Несколько часов я выдавал в радиоэфир припудренную, засахаренную картинку реальности, замыкая ад тревожных и тяжелых новостей в своей голове. Сейчас, идя мимо жужжащей автомобилями трассы, я пытаюсь выбросить этот свинцовый груз в загазованный воздух. Его отравляют своим чадом пока еще немецкие, японские, корейские, английские машины. Мир в конце концов погибнет — не от войн, так от выхлопных газов, от кока-колы, от компьютеров, от электробритв, от памперсов, от совершенно обыденной, мирной деятельности, увлекая за собой легкомысленный род человеческий. Все к тому, что мне не идти по прекрасному, ослепительно-осеннему западному городу в заграничном пальто. Будущее наступило. В Диснейленд мы опоздали. Но меня не печалит это. Как-нибудь да будет, повторяю я, стараясь взбодриться, чтобы дома быть активным, веселым главой семьи из яркой телерекламы.

Солнце проступает неровным кругом сквозь красноярское «черное небо». Снег стремительно тает, и на месте сугробов остается тонкая наледь, вертикально вздымающаяся хрупкие острые лезвия. Блеск оружия этой армии драгоценен, потому что недолговечен.

Навстречу попадают люди апокалипсиса с гастарбайтерскими баулами и спортивными сумками. Они спешат в пустеющие магазины. Некоторые из них почти мои знакомцы — я вижу их из раза в раз, идя на работу и с работы. Однако странный, для-

щийся во времени на слоу-перемотке взрыв, что начался когда-то с Лехиной вылазки за мячом в подвал, настиг и опалил их. Изменил до неузнаваемости их лица, превратил в закрытые, неподвижные, неживые маски. Я ишу в этих лицах хоть что-то живое, ободряющее, что-то прежнее. И не нахожу. Я уже теряю надежду, и лишь недалеко от дома, когда я останавливаюсь на перекрестке, это наконец происходит.

В тонком пуховичке и несерьезной шапочке, с угадывающейся неидеальностью фигуры, она стоит и улыбается. Одна среди вспухших желваков и сурово сжатых губ. Просто улыбается улыбкой, обращенной внутрь, своим мыслям. Улыбается сама себе — но и мне, и каждому, любому, кто готов впустить в душу эту внутреннюю улыбку и согреться ею.

Может, эта улыбка лишь средство ее защиты, может, она — ее броня. Но мне становится легко, будто черное небо поднялось и отлетело высоко к косматым вангоговским звездам, и синее небо разверзлось надо мною во всю ширь. Наверняка у нее есть свои проблемы: с работой, с мужем, с детьми, наверняка она несчастлива и обречена — но она улыбается. И я решаю во что бы то ни стало улыбаться прохожим на улице. Потому что отныне, и от начала времен, и до их конца мы никому в мире не нужны.

Загорается зеленый — и взрыв настигает нас, и проходит через нас, и устремляется дальше, калеча, преображая, сметая наносное. Мы трогаемся навстречу сплошным обугленным потоком.

Мы идем и улыбаемся друг другу обожженными лицами. Мы свободны отныне.

Мы говорим друг другу улыбками: «Ты прекрасна». — «Ты прекрасен», — совершенно не думая об этом.